

Б И Б Л И О Т Е К А

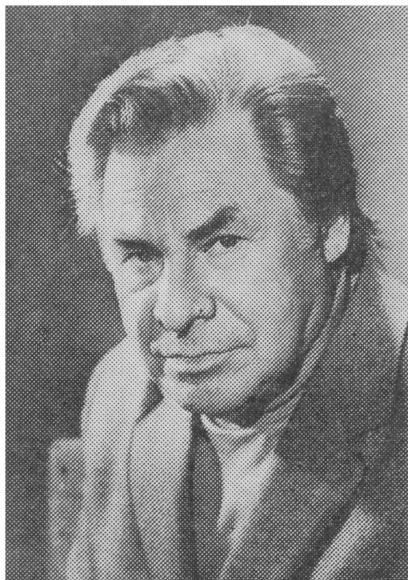
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 43

1986



*Евгений НОСОВ*

**НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ  
СОЙДУ...**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 43

---

Евгений НОСОВ

НА ДАЛЬНЕЙ  
СТАНЦИИ СОЙДУ...

ОЧЕРКИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1986

*Евгений НОСОВ*

*Евгений Иванович Носов родился в 1925 году в Курске. Участник Великой Отечественной войны. Печататься начал с 1947 года, в 1962 году окончил Высшие литературные курсы. Автор многих сборников рассказов и повестей, в том числе «На рыбацкой тропе», «Тридцать зерен», «Шумит луговая овсяница», «Красное вино победы», «Мост», «Усвятские шлемоносцы».*

*Евгений Носов — лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького.*

## С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ

Погожим осенним днем бродил на Боевке. Есть у нас, в Курске, прямо в городской черте, такое урёмное местечко по берегам Тускари. Вокруг прибойно шумит город, а здесь — девственная тишина. Среди соловьино-чащобного разнолесья возвышаются и неохватными колоннами подпирают небо серебристые тополя, словно поседевшие от времени. Говорят, им уже за двести лет. Иные суховершат, в непогоду скрипят омертвевшими ветвями, в изреженных кронах перестукиваются, сноровисто плотничают дятлы, соря окрест трухлявой, бражно пахнущей щепой. А в прикорневых дуплах, похожих на индейские вигвамы, мальчишки, еще не обремененные думами о беге времени и прочих высоких премудростях, разжигают костры и даже подкладывают в огонь где-то раздобытую поржавевшую гранату, пытаются исказнить старое дерево, причинить ему побольше боли и зла, всеми средствами повалить его, дабы насладиться зрелищем, как с оглушительным и раскатистым, на всю урёму, треском надломится поднебесный великан и, роняя сучья, давя и руша соседние деревья, рождая стон и ветер, грохнется о содрогнувшуюся землю.

Но чаще больное и старое дерево подрезают пилами специальные рабочие, расхватывают на кряжи, и мощный трактор, охватив тросами, отволакивает их куда-то...

При виде упавшего тополя на душе делается скорбно; некоторое время пристрасно замечаешь, что в силуэте леса чего-то не хватает; но потом постепенно смиряешься и привыкаешь, как и должно тому быть.

Старики уходят один за другим. Но лес остается. На смену ветеранам поднимаются новые поколения — кто еще совсем юный, с несколькими листочками на незатвердевшем прутике, а кто уже в подростковом высокомерии, расталкивая других, прогонисто рвется к солнцу.

Такой вот молодец — двумя руками не объять, — одетый в рубчатое корье у обножья, будто примеривший новые, неразношенные сапожки, но чуть выше ствол еще бархатно-гладкий, с темными поперечными пропестринами на бирюзовой, словно атласной рубахе, широко и жадно раскинутыми во все стороны ветвями-ручицами, как

бы стремящимися побольше, пошире захватить вокруг себя пространство, — такой вот удалец счастливо вымахал даже не на ровном месте, а на дне продолговатой, замусоренной канавы.

«Да ведь это же траншея! — вдруг знобко осенило меня, когда я взглядом проследил почти неприметную ложбину, ужинными извивами уползающую под сырую сумеречную сень подлеска. — Ну конечно, траншея! Вот отвилочек, ведущий к пулеметному гнезду, а это вот ямка, заросшая черемушником, — бывший солдатский блиндажик...»

Сколько их, этих рубцов войны, еще виднеется на курской земле! Особенно при вечерней заре, когда низкое, косое солнце удлиняет тени от оглаженных временем окопных брустверов. И вид их всегда холодит, оторапливает душу. Но все-таки не так порастил меня зловещий свет траншеи, как этот тополь, вознесшийся над окопом. Ведь он пророс и выбросил свой робкий побег никак не раньше, чем из траншеи ушли солдаты.

— Иначе они затоптали бы тебя, — сказал я сочувственно дереву. — Ведь ты был тогда еще такой крошечный!

Я уже толкал свою пушку по болотам Белоруссии, обходил немецкий стотысячный «котел» под Бобруйском, откуда черным вороньем несло горелые штабные бумаги и по ночам над окруженными лесами всплскивались мертвенно-бледные ракеты отчаяния, тогда как ты едва только проклюнулся крошечным красноватым росточком на дне брошенного окопа. И еще тебе надо было расти все лето, чтобы дотянуться верхним листком до бруствера и хотя бы на цыпочках взглянуть, что там, за окопом. Вот так-то, брат. А я к тому времени уже топал по дорогам Польши — соседней с нами земли, затянутой, как бывает поутру над тополями, низким слоистым дымом, сквозь который непреклонно и гордо возносились острые стрелы костелов. Особенно жарко и дымно горел Белосток... А помнишь гипсовые мадонны над тесовыми острыми кровельками на польских полевых перекрестках, скорбные и кроткие, с младенцами на руках, простреленными автоматными очередями... После мы пили пилотками из Нарева, севернее Варшавы. И лишь потом, уже по снегу повернули на север, в Мазуры и дальше — в тевтонские земли... Впрочем, что ты помнишь? Ничего ты не помнишь. Ведь ты, неохватная дылда, почти догнавший своих предков, вовсе не видел войны. Ты еще просто салага, маменькин сынок, дубина стоеросовая. Вот что ты! — Я хлопал ладонями, стучал кулаками по его обножью, пытаюсь разглядеть затерянную в синеве вершину. Удары и шлепки мои были глухи и жалки, а ствол неподатлив и безразличен, как монолит, и я вдруг всем своим смятенным существом ощутил, какая толща времени напластовалась над нами, бывшими фронтовиками.

И еще был случай, когда я вот так же остро и знобко ощутил эту толщу.

Как-то пришла повестка из райвоенкомата. Обыкновенная служебная открытка с обычным предписанием явиться такого-то к такому-то ноль-ноль по вопросу воинского учета. Дело привычное, как говаривал беловский Африканыч, захватил положенные документы, пошел. Дорога тоже привычная: все послевоенные годы райвоенкомат располагается на тихой обочной улице с неказистыми провинциальными домишками. Как вселился после освобождения Курска в первое попавшееся уцелевшее помещение, так в нем и застрял. Город с тех пор вырос более чем вдвое. Учетной, допризывной и прочей работы намного прибавилось, а при таком вот наплыве, как в тот день, вызванный народ и вовсе размещать негде. Стиснутый соседними застройками, военкомат даже не имел мало-мальского двора, где можно было чем-то и как-то занять людей, не говоря уже о внутренних емкостях старого купеческого дома с его узкими загогулистыми коридорами и переходами, с бестолковыми клетушками служебных отделов. А известно, в такие часы, пока суд да дело, учетный контингент, ожидаячи, томится и мается и поголовно лезет за куревом. Предупреждай — не предупреждай дежурный офицер, все равно в рукав да курнет кто-нибудь, за полу собственного плащиска дым да выпустит. Народ ушлый, бывшие окопники, у фрица под самым носом куривали! Через короткий срок в тугο набитом коридоре становилось серо и непроглядно, и тогда какая-нибудь учетчица, не выдюжив, категорически поставленным военкоматским голосом объявляла: «Так! Военные билеты все сдали? Сдали. Тогда — шиг-гом ар-рш отсюдава! Все, все до единого!» — выгоняла на улицу.

Пока проходишь этот путь — от дома до военкомата, — странные превращения происходят с тобой. В начале пути голова еще полна дум о прерванных делах, ну, скажем, о том, ехать или не ехать на пленум большого союза... По выходе из лифта с тобой почтительно здоровается консьержка, это ее почтение невольно добавляет тебе сознания собственной значимости, и ты, самодовольно покашляв, добившись от голоса авторитетного звучания, надеваешь для большей респектабельности притемненные очки, а скорее для того, чтобы, не отводя глаз, рассматривать встречных прелестниц, бодро цокаешь по утреннему тротуару. Но, странное дело, как только ты, не забыв спрятать легкомысленные очки, вливаешься и смешиваешься с толпой у дверей военкомата, так все мирское, суетное, ясное оставляет тебя, срабатывают какие-то старые, дотоль подспудно дремавшие рефлексy стадности, откуда-то появляется готовность делать, как все, терпеливо и сколько угодно стоять, не спать, не есть, переносить любые невзгоды, терпеть жару, духоту, табачный дым, осеннюю морось, стекание дождевых капель за воротник и в то же время обострившимся духом ловить и беспрекословно исполнять любые команды, даже такие: «Вот вы трое — собрать в коридоре все окурки и доложить».

Когда я подошел, у входа, на уличном тротуаре уже толклась, перемешивалась, гомонила, балагурила, ёрничала, дружно хохотала и повально курила плотная толпа.

— А в чем дело? — спрашивали только что прибывшие.

— Зачем вызывают?

— А ты что, не слыхал?

— Да нет, а что?

— Ну как — что... Ложку с котелком прихватил?

— Не-ет. А зачем? Что-нибудь серьезное?

— А то как же? Сейчас термос привезут. Будут по секундомеру смотреть, кто как пшенку рубает. Который разучился, не уложится во времени, того на месячную переподготовку.

Народ дружно регочет, а новичок смущенно озирается.

— Нет, правда, ребята...

— А правда такая: ты какого года?

— Двадцать пятого, а что?

— Ну вот и достукался: весь двадцать пятый на увольнение.

— Как — на увольнение? Снимают с учета?

— Ага! Под зад коленкой.

— Нет, правда — совсем? Что же, выходит, уже не нужны?

— А ты чего хотел? До вставных челюстей числиться? Пора и совесть знать: послужил — дай послужить другому.

И я видел на лице бывшего солдата растерянность и смятение, какое испытал и сам только что. Небольшими группами по алфавиту, по несколько букв одновременно стали приглашать в зальчик. На кумачовом столе — графин и стопка краснокорых военных билетов. В каждом — на тридцать четвертом пункте, где значилось: «Исключен с воинского учета за достижением предельного возраста состояния в запасе» стояла большая гербовая беспрекословная печать и комиссарская роспись. Все! Обжалованию не подлежит. Отказаковались, голубчики! Подумать только: уходил подчистую, насовсем, безвозвратно двадцать пятый год! Уходили бывшие двадцатилетние солдаты Победы. Мальчишками форсировавшие Днепр, освободившие пол-Европы, штурмовавшие Берлин... Ходили в атаку, на яростные вспышки пулеметов, схватывались врукопашную в тесных, заваленных трупами траншеях, со связкой гранат ползли навстречу бегущим, лязгающим, отшлифованно сверкающим гусеницам... Но даже среди смертельной опасности они не были способны удержать свое еще не изжитое подростковое мальчишество, потребность озорства и школы. Помню, как в Польше ползли мы на нейтралку за ничейными огурцами. Весь смак этих вылазок заключался в том, что по всему живому били немецкие снайпера и надо было не попасться им на мушку. Ползли, прысая в ложбинах между гряд, затаивались, передыхали, усмиряли стук крови в висках, снова осторожно переползали. И, набив пазуху огурцами, счастливые и гордые, на животе



переползали обратно. Вдруг — ти-у! Это снайпер бил по шевелящейся ботве. Заметил, гад. Хорошо, хоть не разрывной. Только продырявил листья, над самой головой...

И вот они уходили. В окончательный и безвозвратный запас. Поседевшие, оплывшие, иные, наоборот, с язвенно запавшими щеками и шамкающим ртом, натруженные, наработавшиеся за эти, в общем-то нелегкие послевоенные годы. Дорогие мои мальчишки! Товарищи и сослуживцы по солдатским невзгодам и радостям! Какие вы все стали! Право, наворачивается слеза...

Они еще хорохорились, изображали из себя бравых, бывалых, якобы и до сих пор не растерявших той прежней бравости, шутили, вспоминали и пускали в ход окопные присловицы и побаски, вроде той, дескать: «Оторви бумажки твоего табачку закурить, а то спички дома забыл». Но мне-то видно: все они переживают и прячут в себе эти приспевшие горестные минуты. Никто из них не обрадовался предстоящей полной свободе — освобождению от самой святой обязанности быть защитником своей Родины. Никто с этим в глубине души не согласился и не смирил себя.

А тем временем майор за кумачовым столом выкрикивал:

— Никандров! Алексей Федотыч!

— Есть!

Торопливо, из задних рядов, позвякивая медалями, на ходу шаря руками у горла, будто проверяя, застегнута ли пуговица, к столу печатно вышагал и остановился, руки по швам, щуплый, неказистый мужичок в провислом куропаточно-сером пиджаке. Он снял сетчатую, под рисовую соломку, шляпу, сунул под мышку и провел ладонью по жидкому косому зачесу на темени.

— От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, — торжественно, уже в который раз, дойдя до буквы «Н», повторил майор, — благодарю вас за доблестную и безупречную службу в рядах Советской Армии.

— Я на Северном флоте служил, — с гордецей уточнил Никандров, и майор, заглянув в его билет, поправился:

— ...за службу в рядах Советского Военно-Морского Флота...

— Служу Советскому Союзу! — истово грянул северофлотец, и тонкая, жилистая его шея и большие оттопыренные уши в как бы капустных прожилках враз залились краской.

Майор протянул Никандрову руку, потискал ему ладонь, а другой вручил военный билет.

— Разрешите обратиться, товарищ майор, — вытянулся Никандров.

— Пожалуйста, обращайтесь.

— А если того... Ну, чего-нибудь такое, неладное... Дак как... Может, опять позовете?

— Обязательно позовем! — засмеялся майор.

— Учтите! — поднял палец Никандров и почему-то погрозил им майору: — Мы еще могём!

Майор отечески потрепал морячка по плечу, одновременно легонько поворачивая и подталкивая его к залу, и тот, удовлетворенно надев шляпу, протопал на место, выкрикивая:

— Так что про нас не забывайте! Рановато еще...

— Да угомонись ты, полундра! — кто-то смеясь одернул североморца. — Весь проход песком засыпал.

В зале захохотали.

— А ты — заткнись! — огрызнулся моряк. — Еще поглядим, чей песок...

— Никудаев! Степан Петрович!

— Есть!

— От имени Президиума...

— Служу Советскому Союзу!

И вот, как выстрел в упор, неотвратимое, неизбежное:

— Носов!

Сердце разом толкнулось надрывно, обожгло виски.

— Есть такой?

— Есть... Иду...

Но идти за этой свободой действительно было трудно. Ноги подло обмякли, во рту сделалось сухо, шершаво... Надо бы в таком случае собраться с духом, найтись, как-то отшутиться, не показать виду, что тебе стало вдруг муторно, не по себе. Но не нашелся, молча, деревянно, глядя в одну точку чем-то занавешенными глазами, — не нашелся потому, что до последнего мгновения был внутренне не готов, не верил в такое, как в солдатской молодости не верил в свою смерть.

— От имени...

Возвращаясь к своему месту, раскрыл билет. А там, как у всех: «...за достижением предельного возраста».

Да, братцы, бежит время... Вот в грядущем мае прогремят залпы уже сорокового салюта нашей Победы. Подумать только — сорокового! Какой высоченный тополь времени поднялся над нашими головами! Даже для страны это не малый отмер, не говоря об отдельном человеке. Иных уж нет, осиротели их боевые ордена и медали, а для уцелевших — это, как поется в песне, воистину «праздник с сединою на висках». А я бы от себя добавил: «И с валидолом в кармане». Ибо пошел я в прошлом году девятого мая на курское мемориальное кладбище и после гранитных и мраморных плит, венков и высеченных бесконечных имен, после всплесков музыки и тихих всхлипов замерших у надгробий пожилых женщин в черных платках, и особенно глядячи на поникших плечами несмело шаркающих по кладбищенскому асфальту подошвками, с лихим белым пушком, колышимым майским победным ветром на обнаженных

головах бывших гвардейцев прославленных бригад, дивизий и корпусов, — после всего этого вдруг так прихватило, что забился в кусты и там едва отлежался. А нужного в тот момент в кармане не оказалось...

Нам, уходящим, часто задают вопросы, ну, допустим, такие: можно ли ожидать от писателей, не принимавших участия в Великой Отечественной войне, тем более родившихся после, и даже много позже, значительных произведений на эту тему? И есть ли у писателей-фронтовиков какие-либо принципиальные преимущества? Относительно первого вопроса двух мнений быть не может: от литературы грядущих поколений следует ожидать нового интересного осмысления темы народной войны 1941—1945 годов. Тому вдохновляющий пример: Толстой и его «Война и мир». Он родился спустя шестнадцать лет после Бородинского сражения, но такое впечатление, будто своего капитана Тушина писал с натуры в передышках между яростными налетами французских кирасир. Впрочем, возможно, что образ капитана Тушина у Льва Николаевича сложился и вызрел на севастопольских бастионах, где ему самому довелось понюхать подлинного пороха. К тому же надо учесть, что некоторые конкретные пушки, гремевшие на Бородино, в том же виде, теми же ядрами обороняли и Севастополь. Так что для Толстого конкретика войны оставалась почти неизменной и наглядной даже спустя почти полвека.

Что же касается преимуществ, то при условном равенстве талантов преимущество останется на стороне писателя-очевидца. Как бы мы ни изощрялись, нам никогда уже не превзойти «Слово о полку Игореве» с его невоспроизводимой историко-поэтической плотью, источающей не подлежащий синтезу дух и аромат того времени. Можно написать тысячи современных поэм о походе на половцев, но такую, как «Слово» — никогда! Точно так же ни цветной пленкой, ни шириной экрана, ни количеством серий, ни головоломными трюками каскадеров не побить, не перещеголять нам односерийного, черно-белого, простенького, снятого старинными камерами незамысловатого «Чапаева» с его эпохальной нотой: «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой...»

Из будущих книг неминуемо уйдут какие-то тонкости, приметы и характерные подробности минувшего времени, как, видимо, что-то ушло (и мы того не замечаем своим современным зрением) даже из гениальных «Войны и мира». Время в известной мере развяжет руки будущему писателю, ибо среди читателей-современников уже не будет дотошных очевидцев, какие окружают нас теперь. Сейчас ведь как: чуть что, сразу письмо или звонок: «Па-звольте! Откуда вы это взяли?! Да не было в сорок первом на «ТБ» никаких раций! Я сам обслуживал полеты, знаю. Летят, как сундуки. Если что случится, экипажу ни до кого не докричаться. А вы пишете...»

И это, как правило, не мелкое подсиживание, не злорадное потирание рук после писательской промашки, а естественное требование от литературы — правда и только правда. Он, читатель, тоже ведь участник войны, тоже очевидец и потому чутко и ревностно следит, как и о чем мы пишем. Литература о войне для такого читателя — не развлекательная словесность, а средство поддержания в себе гражданского чувства сопричастности с минувшими событиями, с судьбой Родины, ее героическим прошлым.

Такая ревностная опека, воистину народный контроль дисциплинирует писателя, заставляет его быть осмотрительнее, вызывает к его совести и чести.

Обвес и обмер в обращении с правдой безнравственны. Тем более безнравственно обмеривать будущие поколения, которые столь же беззащитны перед нашим наследием, как и наши родившиеся или еще не родившиеся дети, зачатые в нетрезвом уме.

Правда — это важнейший компонент человеческой среды обитания, как, скажем, земля или воздух.

Растение, выросшее в тепличных условиях, то есть в искаженной среде, как правило, не может существовать или долго перебаживает в открытом грунте. А открытый грунт — это и есть сама жизнь, ее не прикрытая полиэтиленовой пленкой правда.

Для человека тепличная среда еще более опасна. Опасна не только для самого теплично-возросшего, но и для окружающего его общества. Ибо — теплица вовсе не уютный уголок благоденствия, как иногда кажется, а вредоносная сфера, растлевающая человеческое сознание и душу. Человек, воспитанный на тепличной материальной и духовной неправде, социально патологичен. Поведение его непредсказуемо.

Это — во взгляде на наше будущее.

А вот — из нашего прошлого.

Бесчисленные братские могилы и обелиски, в которых и под которыми зарыты двадцать миллионов наших соотечественников, — не только следствие того, что враг был силен и коварен, что напал он на нас внезапно и т. п., но еще и в какой-то степени на совести пишущих и говорящих языком литературы и искусства, что-то не договаривавших, умалчивавших, а то и просто не то говоривших своему народу. Кто не помнит это благодушное: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы»? С каким расpiraющим грудь энтузиазмом и гордостью пелось это по всей стране — в семейных ли застольях, в детских ли хорах, на всенародных праздниках, в уличных колоннах, на разукрашенных кумачом площадях и стадионах. Мы, тогдашние, радовались этим словам, радость переходила в веру, а вера — в наше сознание. Но вскоре горестно обнаружилось, что пели, ликующе произносили всего лишь безответственные слова, выдававшие желаемое за действительность.

Слово вооружает, но оно и обезоруживает.

Обо всем этом мы не должны ни на минуту забывать, садясь за чистый лист бумаги или берясь за съемочную камеру.

Именно нами, прямыми очевидцами, закладывается основа исторической правды о войне, на которую потом будут опираться будущие поколения, как в свое время мы, стремясь постичь события, происходившие без нас, скажем, годы революции и гражданской войны, познавали из правды «Тихого Дона», «Хождения по мукам», «Разгрома», «Бега», «Железного потока» и других книг, выверенных временем и совестью художника.

Если литература вообще и военная литература в частности — зеркало жизни, то в последнее время, заглядывая в это зеркало, мы, бывшие фронтовики, не всегда узнаем себя в нем. Тому причина — небрежное отношение к чистоте его поверхности, вследствие чего и возникает искажающая деформация. Примеров этого множество, и особенно в кино. Последний пример — многосерийная лента «В лесах под Ковелем». Во вступительных титрах предупреждают, что фильм создан на документальной основе. Верю, но когда я вижу сытого, мордатого партизана, лежащего на бутафорских нарах в блистательных, белосахарных накрахмаленных кальсонах, когда я смотрю на ухоженный, чуть ли не с посыпанными песком дорожками партизанский лагерь, похожий на профсоюзный летний дом отдыха, с аккуратными землянками, благодушно подымливающей кухней под еловым навесом, — все! Я этому фильму уже не верю. Не верю я в сцену с пистолетом, который лепит из тюремной пайки арестованный немцами скульптор и тут же, будучи голодным, жадно откусывает дуло... Все это картинно и дурно... Дальше я смотреть не стал... Слишком, по представлению режиссеров, все было легко и просто. Эти эффектные взрывы, летящие под откос вагоны и паровозы... Эта бесприцельная стрельба из автомата из живота, которую особенно нравится снимать молодым ковбойско-джинсовым режисерам...

Да, вагоны и паровозы действительно летели под откосы, но далеко не такой ценой. Партизанский лагерь — это не стройотряд на природе. Это — затаенный остров в тылу врага, это постоянное чувство отрезанности от Большой земли, постоянная опасность обнаружения, ожидание предательства, выдачи, налета, облавы, это — напряженность с едой, а то и просто многодневное голодание, нехватка боеприпасов, медикаментов, это унижительные, извиняюсь, выш, от которых в тех обстоятельствах почти невозможно избавиться, наконец — самое страшное — тиф, иногда косивший бойцов пострашнее вражеских автоматов.

В подобных условиях, далеких от киноэкранных, и действовали партизаны — совершали свои вылазки, снимали часовых, закладывали фугасы и мины.

Даже, в общем-то, в хорошем и достоверном фильме «Освобождение» постановщики не избежали искушения приукрасить наших бойцов. Всех одели в новые телогреечки, обули в сапожки и выдали красивые поблескивающие касочки. А в это время, когда мы готовились к операции «Багратион», явившейся темой одной из частей «Освобождения», на мне были вдрызг разбитые ботинки, тряпичные обмотки, продранные и неумело, собственноручно зашитые на коленках х/б-штаны, почти бесцветная гимнастерка без единого погона и — никакой каски на лопухой остриженной голове. Ничего себе — красавчик! Потом, уже прорвав оборону, я стащил с убитого фрица сапоги — уж больно неумогу, стыдно было молодому, особенно когда на батарею появляются санструкторши, ходить в обмотках. Но из трофейных сапог отвратительно воняло чужим, вражеским потом, и я не решился надеть, а саданул по ним из автомата. Кстати, стрелять из автомата, а тем более из пушки, на фронте приходилось далеко не каждый день, во всяком случае гораздо реже, нежели в иных кинофильмах и книгах. Зато солдат трудился, как муравей, каждый день, а если нельзя днем — то ночами. Оттого так донельзя и было изношено наше обмундирование. И вовсе это не по бедности армии, так что стыдиться этого и излишне принаряжать нас в кинофильмах не надо. Маршал Еременко в своих воспоминаниях писал, что на Калининском фронте, чтобы проложить по болотистой местности только один километр дороги, надо было спилить, разделать и подтащить к лежневке около тысячи деревьев! Вдумайтесь, что это была за адская работа. Какая же тут уцелеет гимнастерка!

Вообще война — это прежде всего терпение. Долго идти, тяжело нести, изо всех сил толкать, вытаскивать, копать, пилить, забивать, вычерпывать, крошить камень, долбить мерзлоту, не спать до умопомрачения или забыться мгновенным, как обморок, сном на ходу, мерзнуть, зуб на зуб не попадать, на посту колотить промерзлыми валенками нога об ногу, или перемогать сырость, дождь, жару, жажду, терпеливо, иногда сутками ждать куда-то запропастившуюся кухню, грызть захудалый затхлый сухарь за неимением ничего другого. Курить листья, мох, добывать огонь кресалом, спать одетым, часто на сырой земле, а то и просто в снеговой ямке. Терпеть вражеские пули, зверские минометные обстрелы, подавлять в себе злость и искушение палнуть ответно, зная, что каждый патрон, каждый снаряд на счету и тебя за это геройство по головке не погладят.

Опять же из воспоминаний маршала Еременко: «К началу наступления (январь 1942 года, Калининский фронт.— Е. Н.) отдельные дивизии, например, 360-я, не имели ни одной суточной дачи продовольствия. Пришлось искать выход из положения, отбирая у одной части небольшие запасы и передавая их другой, не имевшей ничего. Так были отобраны сухари у 358-й стрелковой дивизии и переданы 360-й, чтобы накормить людей хотя бы к вечеру первого дня наступления».

А мороз-то стоял лютый! А снега — по пояс! Идти надо было без сопровождения танков и даже артиллерии, потому что все застряло и отстало. В животе — пусто. И в вещмешке — тоже ничего. А впереди — в теплых укрытиях, за проволокой и минами, сытый и обогретый немец, вооруженный до зубов.

Все это и есть массовый героизм нашего народа на войне. Затыкание собственным телом амбразуры, бросание со связкой гранат под гусеницы совершали не все, единицы из сотен, но через горнило стойкости и долготерпения прошли миллионы безвестных Копешкиных. И потому победили подготовленного, разбойно вооруженного, наглого, самоуверенного и беспощадного врага.

Поэтому, когда в фильмах и книгах несоразмерно много красивой феерической пальбы, взрывов, прыжков на шею врага или с крыши на крышу, самбовых приемов и подсечек, мы тем самым невольно отделяем, отгораживаем читателя и кинозрителя от соучастия в событиях минувшей войны. Ибо все это не про него, не совпадает с его чувствами и памятью о пережитом — памятью, которую и поныне тревожат по ночам кошмарные видения.

Дети смотрят на такую пальбу с живота, не целясь — и им делается весело.

А мне от этого грустно...

## НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДУ...

Весь день шепчется в лопухах вкрадчивый моросейный дождишко, от которого перестали прятаться даже куры. Замызганные и нахохленные, они привычно бродят по железнодорожным путям, выискивая всякую оброненную поживу, время от времени встряхиваясь и топорща мокрые перья. Словом, дождь не ахти какой, однако же настырностью своей успел-таки расквасить окрестные дороги, так что всякий выбредший к вечернему поезду из глубинки, из этой хлябкой черноты распаханых осенних полей, поневоле принимается оскабливать заляпанную хватким черноземом обувь. Иные, не найдя ничего подходящего, забираются на насыпь и ошмыгивают башмаки прямо о край рельсов, что под низким серым небом зовуще выблискивают в обе стороны до самого горизонта.

Место это не имеет названия, поскольку не является ни станцией, ни даже разъездом. Именуется оно всего лишь блок-постом, носящим порядковый номер, исчисляемый количеством километров от Москвы... Еще недавно, когда крестьянин сидел по деревням, здесь было глухо, безлюдно; рабочий поезд, составленный из разномастных, чуть ли не времен Анны Карениной, вагонов, останавливаясь, подбирал нескольких случайных пассажиров. А в такое ненастье к поезду и вовсе никто не выходил, разве что по великой крайности.

Паровозик тутукнет обиженно, оттого что зря останавливался, напрасно жег тормозные колодки, железно лязгнув сцепкой и буферами, выдохнув чадный дым пополам с угольной пылью, заново принимался набирать разбег — до следующей будки, такой же глухой и безлюдной.

Ныне народу собирается здесь препорядочно, человек за сто, а в воскресные дни, как сегодня, и того пуще, и повезет его прыткая, похожая на большую зеленую веретеницу, электричка, точно такая же, какие снуют по бойким пригородам Москвы. Правда, на подмосковную — ухоженную, заасфальтированную, обустроенную, со всякого рода указателями, подходами и переходами, расписанием движения поездов, скамейками, светильниками, навесами от дождя и даже мороженщицами — здешняя платформа ни в чем подобном не похожа. Собственно, здесь и нет никакой платформы, а просто, когда подходит электричка, все пускаются карабкаться на весьма крутую насыпь, которая к тому же обложена грубой и зыбкой щебенкой, при этом обремененные годами и ношей тетки помогают себе даже руками. Там, наверху, все так же спеша и оттирая, отталкивая друг дружку (потом они будут, уже приехав в город, вот так же отталкивать других, садясь в трамваи и автобусы), оттого что еще не избыт крестьянский страх перед машиной, врожденная, сословная боязнь, что электричка (автобус, троллейбус, трамвай) не станет ждать и вот-вот уйдет, в меру и не в меру своих сил и пробойности природы принимаются штурмовать подножки, нижняя из которых находится на уровне пояса. Опять же больше других достается тучным пожилым теткам, которые, побагровев и выпучив от натуги белесые, будто просоленные, глаза, пытаются задрать негнучую, оплывшую ногу и утвердиться на подножке поначалу хотя бы одним коленом.

— Штаны треснут! — хохочут из тамбура молодые мужики.

— Гляди, чтобы рожа твоя бессовестная не треснула, — тут же взвизывает скороговоркой баба. — Чего пнем стоишь, пособи лучше.

— Да тебя, тетка, и ухватить не за чело: как есть тыква нехватная.

— Сам ты... Ойё, ляд тя замай! Да полегче ты цапай-то, бугай буреломный, весь ворот оторвал.

— Сидела б тогда дома, раз на порог не влезешь.

— Дак и сидела б, ежли б и вы, молодые, из дому не бегли. А то теперь одна нога в огороде, а другая — в городе.

Машинист электрички, высунувшись из окна, наблюдает за всем этим столпотворением, добродушно посмеивается, глядя, как в четыре руки втаскивают на порожки бабу. Но он зря поезд не дернет, а непременно выждет, пока все уберутся в вагоны (а убираются, несмотря на кажущуюся непреодолимость подножек, в считанные секунды), и только тогда раздается басовитый, похожий на пастушью дудку, гудок электрички, после чего блок-пост враз опустеет и на пути, еще



постукивающие убегающими колесами, снова вышмыгнут мокрые, всклокоченные куры.

В ожидании же электрички все устраиваются под насыпью, прямо на траве, если позволяет погода, или на штабеле шпал, на срубе колодца, под заборными кустами бузины, на кирпичном выступе фундамента блок-постной будки, а в ненастье, когда все и везде мокро, терпеливо толкуются, перемогаются стоя.

За полчаса до электрички кассовое окошечко, а вернее, выставленная нижняя шибка в оконной раме, еще закрыто, заставлено фанерной крышкой от посылочного ящика, и ты в недоумении и от нечего делать прочитываешь сначала адрес и фамилию получателя, а потом — отправителя. Впрочем, этой фанеркой, а вернее, кассой, интересуются только непривычные к электричкам горожане, случайно, вроде меня, оказавшиеся здесь. Местных же продажа билетов мало волнует: будут давать — кто возьмет, а кто и воздержится, а не будут — все равно уедут все.

Пробую стучать в кассовую дощечку — никого. Застаясь ладонями, припадаю глазами к соседнему стеклу — в самом деле никого. На служебном столе рядом с компостером на электроплитке бурлит большая семейная кастрюля, и я улавливаю запах свежей капусты, аромат домашнего борща. Стало быть, кассирша где-то тут поблизости. Обхожу будку с тылу, оглядываю двор, испещренный крестиками куриных лап, — тоже никого.

— Щас придет. Она корову доит, — поясняет наблюдавшая за мной какая-то тетка и услужливо помогает мне зычным криком: — Акимовна! Тут спрашивают, когда билеты будешь выдавать.

Из надворной хлевушки так же зычно, на высокой задиристой ноте, отозвались:

— Кому это невтерпех? Скажи, щас додою. Пару раз циркнуть осталось. Это ты, Ульяна?

— Я, я, Акимовна.

— Кого провожаешь, али сама собралась?

— Да зятя с дочкой. На выходные наведывались. Да вот с погодой не повезло: ни в лес, ни на речку.

— Зато, поди, набалакались.

— Дак чево больше делать: говорить да исты. За два дня целого гусака убалакали.

— Ой, Ульяна, хорошо, что напомнила. Будь добра, посмотри в окошко, не бьют ли щи, а то в ящик натечет, билеты намокнут.

А народ тем временем все подваливает, накапливается вдоль полотна на всю длину ожидаемого поезда, и я, от неча делать, пытаюсь угадать, кто есть кто, куда и зачем едет.

Без всякого затруднения определяю человек пять-шесть горожан-грибников. Как правило, одеты они неброско, расхоже, но надежно и обстоятельно, в самый раз по погоде. Устало уйдя в себя, они

порознь, отрешенно сидят поодаль от толпы на крепких ивовых корзинах или специальных заплечных коробах.

Несколько раз крунулся около, вопросительно оглядел меня, должно быть, принимая за своего собрата командированного, некий багроволицый субъект в теряющей форму серой узкополой тирольке и вообще экипированный во все серое, поношенное, рассчитанное на неудобства и грязь, как принято у некоторых мелких чинов снаряжаться в сельскую дорогу. Обеими руками он носил под грузным, вышедшим из подчинения животом обшарпанный, туго набитый чем-то кожаный портфель. Субъект был заметно угощен, видимо, перепала какая-то служебная мзда, и теперь, предаваясь чувству высокого самомнения, вожделенно косился на двух молодых цыганок, новость откуда взявшихся в этой глубинке. Обе — под радужными японскими зонтиками, обе — в долгих цветастых юбках, играющих гофрой при каждом движении невидимых, сокрытых ног, прибойно переливающихся справа налево и слева направо вокруг осиных талий. Прошлись вдоль насыпи, поканючили, поприставали к пассажирам, попредлагали свои сомнительные косметические товары и только одну пациентку обошли, оставили в покое.

Та не тронутая цыганками женщина пристроилась в стороне, в укромном месте, под навесом старой разметавшейся ракиты. Она была низко, по самое переносье повязана черным платком, и в его треугольном обрамлении белело бескровное острое лицо с глубоко запавшими глазами. С ней дожидался поезда попутчик, издали похожий на мальчика, едва достигавший ее груди, оказавшийся уже пожилым увечным человеком, за плечами которого нескладно, чужеродно топорщился болоньевый плащишко... Поначалу я принял их за музыкантов из какого-нибудь сельского самодельного ансамбля, ибо рядом с ними, прислоненный к древесному стволу, покоился обвязанный мешковиной предмет, весьма похожий на контрабас. Однако контрабас этот почему-то стоял узкой головной частью книзу. Двое маленьких ребятшек, бегавших друг за дружкой неподалеку, вдруг остановились перед диковинным инструментом, затаили и, взявшись за руки, робко усталились на оголенный комель. На его темной лакированной поверхности смутно желтели потускневшие от времени нарисованные человеческие стопы, приколотенные одним общим нарисованным гвоздем... Теперь все стало на свои места: и эта бледнолицая женщина, и убогий при ней человек, видимо, постоянный носитель этого предмета, и сам предмет... В какой-то ближней, дальней ли, полузаброшенной, поросшей пустырником и скорбной лебедой деревеньке, должно быть, отошла еще одна обветшавшая жительница... И пожелала она напоследок, чтобы упокоили ее по стародавнему обычаю. Для такой вот последней старицовой прихоти и везут из ближайшей уцелевшей церкви выносное распятие, которое предписано перевозить и переносить

в общественных местах, подобно всяким ранящим предметам, завернутым в мешок, дабы своей обнаженностью не царапать живые души.

— А ну, нечево тут... — не пошевелив губами, жестко цыкнула на ребятишек черная тетка, и те, уже и сами готовые бежать от всего этого непонятого и страшного, опрометью умчались прочь. Вот, собственно, и все случайные пассажиры, которых в следующее воскресенье наверняка здесь больше не застанешь.

Остальные — довольно устойчивая клиентура блок-поста, хотя и она имеет свою внутреннюю, учено говоря, дифференциацию.

Если представить, что городское счастье выглядит в виде этакого коня с розовой гривой, то жаждущие на него забраться распадутся на три основные категории: на тех, кто уже на коне, на тех, кто только занес ногу в стремя, и, наконец, тех, кто пытается на первых порах схватиться хотя бы за конский хвост.

Сидящие на коне и вызывающие естественное почтение у двух других категорий — это те, кто достаточно прочно обосновался в городе, то есть обрел какой-то производственный навык, дождался или еще каким иным способом заполучил казенную квартиру, завел семью, детей, всякую домашнюю утварь и при случае не без самодовольства говорит: «У нас в городе...» С прежней деревенской его связывают теперь лишь воспоминания детства, родственные отношения и некоторый меркантильный интерес к родительскому огороду и надворному хозяйству. С годами такие наезжают в деревню все реже и реже, большей частью по настроению или по житейской необходимости: чья-то свадьба, чьи-то похороны, престольный праздник, Первомай или Октябрьские... Но если еще не за сорок и не оброс самодовольным жирком, то частенько заглядывают и просто на два выходных — повалить деревенского дурака, а заодно прихватить с собой грядочных огурчиков, авоську яблок или свою, деревенскую курицу, выхоженную на вольной воле, лапша с которой пахнет на весь подъезд. Едут всей семьей с разнаряженными чадами, да и сами надевают все самое-самое: жена достает заветную галантерейную шкатулку, одновременно ревниво поглядывая, в чем собирается ехать муж, потому что жизненно важно, как и в чем пройти по селу, где от каждой калитки будет доноситься, к примеру, такой шепот: «Глянь-кось, Ульяновин-то, Ульяновин зятек приехал. Уж и пузцо наел. Вот поди ж ты: сама лядашша, а какого селезня уговорила. Рубаха-то, как у грузина, аж глядеть жарко. И где их только такие достают?»

Так вот, что «на коне», ныне собралось здесь пар десять — пятнадцать, не считая детишек, то есть примерно четверть всей ожидающей публики.

Следует заметить, что два выходных, проведенных в деревне, где всякая мелочь — и в доме, и во дворе — родственно берedit душу, даже туалет на задворке, некогда собственноручно сколоченный из

сельповских тарных дощечек, а ныне щелястый и продуваемый, опасно скособоцившийся, как пизанский шедевр, куда заходишь со сложными чувствами умильного смущения, — и это, и многое другое незаметно упрощает людские взаимоотношения: сами собой избывают первоначальная чопорность и напускная, заведомо, еще в дороге, выдуманная осанистость и вместо городского жесткого «г», с таким трудом и усилием освоенного ради культурной мимикрии, здесь раскрепощенно переходят на родное непритязательное «х», как если бы из жесткой обуви переобулись в разношенные шлепанцы: «Халь, а Халь! Хлянь, хусь не задохся часом... Ты б яму хорло наружу высунула... А ахурцы давай в мою авоську...» На Ульяновом зяте к этому времени уже нет синего горошкового галстука, он засунут в набедренный карман пиджака, откуда и торчит синим телячьим языком; недостает и нескольких пуговиц на «дефицитной» красной рубашке, а русский чуб упал на глаза и мешает открыто глядеть на белый свет. «Што мохут карали...» — навязчиво повторяет он, сплевывая в кусты придорожной бузины. И, возвращая в рот мокрую неприкрученную сигарету, опять же: «Што мохут карали...»

Больше других числом, пожалуй, половину собравшихся, составляет вторая категория — те, кто еще не влез на коня с розовой гривой, а лишь только занес ногу... Все они — кто как и кто где — устроились и приладились в городе: шоферить, слесарить, монтерить, штукатурить, малярить, бульдозерить или просто чего-нибудь носить, копать, сторожить, а женщины — по столовым, больничкам, мойкам, прачечным, лоткам, погребам, лифтам и т. п. Среди всех этих видов услуг и занятий весьма ценятся всякие вахты и дежурства, так чтобы сутки отбыть, зато двое суток дома. Потому-то они еще и не «на коне», что пока не внедрили в город накрепко и, не имея там постоянного жилья, вынуждены ездить в деревню. Но отныне живут они в родном селе с какой-то тоской в душе, с обидным чувством обделенности и лишний раз не возьмутся за топор, чтобы подпереть покосившийся забор: «Глаза б мои на все это не глядели...»

Спрашиваю одного знакомого комбайнера, уже с сединою по плохо выбритым щекам:

- Ну, как сын? Отслужил армию?
- Давненько! — отвечает. — Уж с полгода как пришел.
- Теперь тебе полегчает: помощник явился.
- Ну да, помощник... Разве его на такое уговоришь?
- А чем плохо — комбайнером? Ты за сезон, дней за сорок, тысячи две карбованцев вымолачиваешь?
- Когда как... Иной раз, в хороший год, и поболее...
- Ну вот... Чего ж не комбайнерить? Летом поработал, а зиму, считай, свободен.

— Не схотел, подался в город... — Он как-то скучно поглядел мимо меня. — В милицию было нацелился. Всегда, говорит, в чистом, брюки

в стрелку. Все тебя боятся, а ты — никого. К любому подойти имею право: «Ваши документики!» Сечешь, смеется, старый? — Да уж секу, — отвечаю. — А чего? Любую вещь достать смогу: хоть из еды, хоть из дефицита. И звания: положенное отбацал — получи старлея, еще срок послужил — уже капитан... Понял, батя? А комбайнер — и сегодня, и завтра — все комбайнер... До самой березки. Ванькой родишься — Ванькой и помрешь.

— М-да... Ну и как ему в милиции: все так, как расписывал?

— Да никак... Не взяли... По глазам не прошел...

— И где ж он теперь?

— А все равно домой не вернулся. Три места переменял. Теперь где-то на тарной фабрике... Картонные короба шьет. А живет в общезжитии. Тумбочка да угол... Зато в городе! Вот кое-что везу: кабанчика заколол да медку нонешнего, с гречишки взятый. А то чтой-то давно носу не кажет. Не занемог ли?

— Выходит, жалко?

— Да ить как же не жалко! — вскинул тяжелые кисти комбайнер. — Хоть дурное дитя, да свое. Эх, все из рук валится... Не так задумывалось жить... Чтой-то мы не так сработали, не туды винты повернули...

— Да, выпустили джинна из бутылки... — согласился я. — А теперь обратно не загнать, не заткнуть.

— Ой, молчи, парень... В нашем колхозе председатель вовсе без колхозников остался. Контора есть, печать в кармане есть, а колхозников нету... Все на дорогу глядит, шефов высматривает... Коровник строят чеченцы, бураки выхаживают молдаванцы... Такого отродясь не было...

Ну, а третья разновидность... Вон они, натянули между веток полиэтиленовую пленку, кучной толпой режутся под прозрачным навесом в карты. Чуть подальше такая же кучка обступила ревуший магнитофон: слушают Высоцкого... В основном молодые парни и девочки, крестьянские повзрослевшие дети, выпорхнувшие со дворов окрестных деревень. Им пока не до седла, не до стремени, им — хотя бы ухватиться за хвост... Кто-то подал в ПТУ, но без места в общежитии; кто-то на какие-то курсы; кому-то что-то пообещали... У кого-то брат в городе, рассчитывает пожить у него недельку, может, за это время что-нибудь наклонится... Кому-то через два месяца в армию, и он пока вообще ни о чем не хочет думать, а едет в город просто так, за компанью... Ну, а если уж совсем откровенно, то надывал там одну маруху повалить дурака, а после армии видно будет...

Почти все они знают друг друга по соседству ли жилья, общей ли сельской школе, уличным посиделкам и танцам в колхозном клубе, а теперь вот и по общей дороге в город и обратно, по совместным поискам своего места под солнцем. А потому толкуются, дожидаются поезда веселыми непринужденными группами, легко, особенно ре-

бята, переходят от компании к компании, делятся новостями, а то и прихваченной бутылкой «Три бурака», если, конечно, компании не пребывают в давней хронической вражде. Одеты парни разное, пестро, ни на ком уже не угладишь прежней выдавшей виды стеганой телогрейки, долгие годы служившей в крестьянском обиходе единственным видом одежды — в ней и в поле, в ней же и на праздники. Теперь на большинстве — болоньевые с подстежкой куртки, порой крикливых, назойливых расцветок, например, как вон та — ядовито лимонная с красными подлокотниками и какой-то надписью на спине, которая, может быть, и вписывалась бы в спортивный мир большого стадиона, где полощутся на ветру цветные флаги, пестрят красками панно и рекламы, но здесь, в свете серенького, ненастного неба, среди приглушенного колера окружающих полей, холмушек и перелесков, эта куртка воспринимается так же, как смотрится улетевший из клетки попугай на простой российской ракете. Под куртками же, обычно распахнутыми, несмотря на непогоду, предпочитают носить рубахи, тоже расстегнутые так, чтобы были видны всякие примитивные и вульгарные татуировки или же мелкая бижутерия на шейных шнурках: черное бритвенное лезвие, продырявленный юбилейный рубль, ключ от зажигания или самодельный крестик, выкроенный из расплющенного полтинника. Но особой гордостью почти каждого нынешнего деревенского парня являются мушкетерские кудри, распущенные по плечам, иные со следами бигуди или нагретого в печи железного штыря (мой двоюродный братец, не стану называть его имени, для пущего впечатления красился хной под древнего перса и в таком виде со свеколно-фиолетовыми лохмами ошивался на клубных танцах). Правда, осенняя морось не пощадила хлопотных бигудевых подкруток, и они снова опростоволосились и обвисли мокрыми, слипшимися куделями. Со стороны все это выглядело презабавным, поскольку феминоподобные кудри, позавидованные у зарубежных киноэкранных сердцеедов, никак не сочетались с простенькими и наивными лицами среднерусской деревенщины, которая пока еще и рта не умеет держать взаперти, а так и пялится на весь этот энтээровский мир с удивленно распахнутым зевом. Этакий д'Артаньян из Лобазовки!

На девчатах — такие же куртки, брюки, плащики с капюшонами, рукава которых неизвестно за какой надобностью отвернуты по самые локти. И тоже волосы по плечам. Время от времени заученным движением кисти с неперменным перстнем на изогнутом пальце они отбрасывают, помогая кивком головы, сырые, отяжелевшие пряди со лба, с невидящих, но на самом деле весьма зорких и приметливых глаз и, пока проделывают это кокетливое движение, успевают, подобно вынырнувшей пловчихе, оглядеться и оценить обстановку.

Всматриваюсь в девичьи лица: мордашки, в общем, пригожие, русские, родные, если б только не глаза, шаблонно вымаранные

несвойственной сельской здоровой молодости синевой и просто нелепой прозеленью, делающей их страдальчески старше и отчужденнее. А еще не по душе мне эти суетные, беспокойные взгляды. В них под сенью русалочьих волос промелькивает, как неизбежная боль, скрытая озабоченность, вопрошающая, пристальная ко всему приглядка. У парней такое заметно меньше, лица у них беспечнее, дурашливее, хотя и они тоже время от времени непроизвольно кидают окрест сенью русалочьих волос озабоченные взгляды. Похоже выражение я встречал у молодых волчат. Звереныш едва встал на лапы, а глаза уже наостранные, рыскающие, озабоченные неопределенностью ближайшей минуты. Бывает, схватятся играть, волтузят друг дружку, забылись радостью бытия... Но вдруг разбежались, замерли, прядая боками, настороженно вслушиваются и недоверчиво и тревожно озираются по сторонам...

Потому, наверно, и озирается нынешний крестьянин, что сорвался с исконных мест, побежал, зарыскал по дорогам, а то и бездорожью судьбы. Многие сельских жителей нынче не столько руки, сколько ноги кормят...

Чего же хотят эти парни и девчата? Вряд ли они знают. А вот чего не хотят — знают определенно: не хотят больше жить в своих исконных местах. Там, где в тени деревенской горницы под ситцевым пологом качалась на крюке их зыбка... Где неумело пил из кружки, поливая себе на живот, свое первое парное молоко... Где сорвал и растеребил, доискиваясь, что внутри, первый одуванчик на деревенском лугу... Где выудил на ореховую кривулину своего первого пещаря... Впервые босиком пробежал по теплой, парной борозде, вдыхая сладкую мальчишеской душе тракторную гарь солярки и счастливо загадывая, когда вырастет, вот так же сидеть в кабине, дергать рычаги и отворачивать крутые пласты земли...

И вот выросли...

И теперь со всем этим готовы порвать.

Да, собственно, уже и порвали, когда повесили на шею блестящую пюбрюшку, подцепили под ремешок праздный транзистор и распустили по атлетическим плечам подкучерявленные гулливеровы кудри, возможно, пригодные для шатанья по свежепроложенному деревенскому асфальту, но несподручные ни при какой деревенской работе, и даже опасные, если обхаживать технику. Им наивно и ложно представляется, что именно так — длинноволосо, козлокопытно, с галантерейным баталом на шее — счастливо и бесцельно живут в городах, где по вечерам неистовствует рок и где, вертясь на круглом, как под пианистом, сиденье, тянут из трубочек манго-коктейли.

Да, такому или такой уже не до любви к земле. Напротив, они стыдятся крестьянской родословной, тайно, про себя, кланут судьбу, что родились в какой-то Никодимовке или Кудасовке, стыдятся обычаев своей земли, не поют и слушать не хотят исконных деревен-

ских песен... В разгар сельских работ в глазах у них дремотная лень и скука. А иногда вдруг вспыхивает беспричинная злоба, рожденная собственной пустотой. Ведь вот кто-то из них уже сегодня, вздыбленный водкой и дикостью, будет взад-вперед слоняться по электричке, расталкивая людей и оголтело изрыгая грязную ругань... Ведь это они подстерегут и кучей навалятся, до полусмерти запинают ногами отставшего от своих городского «шефа», приехавшего помочь с уборкой колхозной картошки. Или содеят такое, что и вовсе никакому уму непостижимо: изловят за околицей доверчивую лошаденку и сперва загонят ее так, что та под конец ткнется мордой в дорожную пыль, а потом привяжут проволокой к дереву и обольют бензином... И будут дико хототать и каннибальски приплясывать, глядя, как схваченное ревущим огнем, корчится и утробно стонет уже бесхвостое, безгривое и обезумевшее животное. Та самая лошадь, предки которой мчались в яростные сабельные атаки конармейских буденновских лавин; что потом поднимали из разлухи выстоявшую Россию и везли в красных обозах первый колхозный хлеб для трудового люда... Могла ли она, эта коняга, знать, да и мы с вами тоже, что в эпоху торжества технического прогресса, над воцарением которого и она, как могла, немало потрудилась, ее, недавнюю кормилицу, постигнет такая печальная участь — гибель на костре от рук крестьянского сына? Могли ли предвидеть, что все содеянное нами в деревне и с деревней, наряду с положительным, обернется и проявится и вот такой патологией?

Это как в экологической цепи: казалось бы, из благих побуждений уничтожили какое-то, на наш взгляд, нежелательное явление, но в конечном результате оказывается, что непредвиденно вылезло, получило благоприятственную среду и условия другое зло.

...Как-то вместе с художником-ветераном Михаилом Степановичем Шороховым заехали в здешние места поглубже от железной дороги. Нужен был ему подходящий ландшафт для полотна о Курской битве. Стоял июнь — первый летний месяц с юным названием, молодецки погромыхивающий, «как бы резвяся и играя» тютчевскими раскатами, с внезапными набегами дождей, от которых вовсе не хотелось прятаться, а неудержимо тянуло разуться и пошлепать босиком по теплой, дымящейся дороге. А по обе стороны большака разворачивались такие неоглядные дали: не просто убегающая к горизонту докучливая ровнота, а размеренная череда холмов, похожих на глубокие взволнованные земные вздохи. Где-то в затридевятиземельной дали, у самого края небес, уже невнятно синееют взгорья будто и сами начинают отрываться от земной тверди, обращаясь в парящее скопище облаков и тучевых нагромождений. И сколько видит глаз, все одето молодой ликующей зеленью: с легкой сивцовой зелени озимые хлеба, уже пробующие гнать первые ветровые волны; зеленым половодьем растекалось по балочным и яружным склонам шалфейно-



ромашковое разнотравье; особенно весело и зелено — зеленее хлебоз и трав — лепетал и полоскался по межхлебным холмам и овражным овершьям молодой, тонкогой осинник. И вместе с медвяными волнами зацветшего подмаренника, как сон, как сладкая обволакивающая дрема, бархатно и усыпляюще доносилось кукушкино кукование.

Художник, бывший командир артиллерийской батареи, с острым, уже тогда наметанным глазом на ландшафт долго стоял в отрешенном безмолвии. И наконец каким-то упавшим голосом сказал: «Какое диво! Какая земля! И какой ценой за нее заплачено... Бились за каждый метр, за каждую рытвину. Сколько братских могил на этих холмах! А нынешние уходят, оставляют ее, даже не оглянувшись».

Заехали в селцо Николаевку, раскинувшееся на берегах просторного, шумящего раkitами пруда. Прямо днем над головой, в черемушнике, не скажу чарующе, а оглушающе, аж закладывало уши, бьет соловей. Беззвучно, рыжим венником над темной водой пролетела выпь, опустилась на сухостойну и испуганно уставилась на нас оранжевым зраком, оценивает, кто такие... Ходко прочертила водную гладь ондатра, чья-то пока еще плавающая шапка, возле коряжки вильнула задом, сделала «буль» и ушла под воду — подальше от незваных гостей... Но, несмотря на ветряный шум раkit, на разбойное шелканье соловья, всем существом чувствуешь, какая тут непривычная убаюкивающая тишина. Какой благодатный, прямо-таки райский уголок!

И все же было как-то не по себе, такое ощущение, как если бы кто-то пристально, пронизывающе глядел в спину. Оборачиваюсь — и неприятный холодок пробегает под рубашкой: из-под старых деревьев, широко разметавших кроны, сквозь заросли вишеника и какой-то разросшейся дичины глядела изба пустыми глазницами оконных проемов... Такая же пустоглазая мерещилась сквозь кусты справа. А от той, что слева, остались лишь стены с мотающимися внутри ошметками обоев. Во дворе у порога плодоносят еще не успевшие одичать яблони, на меже сочно рдеет малина и даже весело, празднично вымахал и расцвел на огороде ничего не подозревающий подсолнух. Но двери в избах уже кем-то сняты, и оттуда, из сумеречной пустоты, тянет неприятно и скорбью.

Неужто ушли, ни на что не оглянувшись?

Откуда-то из огородной неразберихи бурьянов и чертополоха свечой взметнулся огненно-красный фазан, некогда завезенный в здешние места для украшения фауны. Петух громко, как в ладоши, захлопал крыльями и, развеивая длинными перьями хвоста, будто сея над порушенными дворами жар и искры, и в самом деле похожий на Змея Горыныча, неспешно и низко, никого не страшась, полетел в прибрежный раkitник.

Да, ушли...

Тогда тоже было воскресенье, и под вечер на всем нашем обратном пути — на перекрестках, на свертках на деревенские грунтовки — нам заискивающе махали, пытались упротиться на машину люди, выбравшиеся на трассу из-за этих холмов, что так похожи на земные вздохи.

Но вернемся на блокпост.

...Тем временем двор пересекла кассирша в переднике и с ведерком. Следом, настырно канюча, задрал нетерпеливо подрагивающий хвост, проволочился мурластый кот. Это означало, что скоро начнут выдавать билеты. И в самом деле: народ пришел в движение, потянулся к окошечку.

До электрички — считанные минуты.

Она придет почти без свободных мест, и здесь знают, что хлопать ушами нельзя, а надо постараться залететь в вагон в числе первых, иначе будешь стоять всю дорогу. Впереди предстоит еще много остановок, и чем они ближе к городу, тем нагляднее станет пример геометрической прогрессии: «Ой, мамочки родные!» — «Да куда ты со своим чувалом!» — «Куда, куда... Раскудахталася». — «Да не дыши ты на меня! Какой только гадости нахлебался!» — «Абакнавенной! Не хуже твоея...»

Ничего не поделаешь: последняя воскресная электричка.

Давайте прикинем — в каждом вагоне двести десять мест. Да пусть для круглого счета стоят человек девяносто. Хотя набивается гораздо больше: бывает, платка из кармана не достать, чтобы утереться. А вагонов в поезде — десять. Выходит, три тысячи сразу выплескивается на конечной остановке. Да перед тем проследовала шестичасовая электричка, тоже набитая под завяз. А их — четыре направления: южное, северное, западное, восточное. Мы не берем в счет десятки автобусов, связанных с деревенскими глубинками.

Полезны ли эти стихийные тысячи городу? Отвечать на это однозначно нельзя. Несомненным остается одно: не усвоив традиций и трудовой этики, без развитого чувства самосознания и достоинства рабочего человека, без твердых навыков культуры городского общегития, даже те, кому повезло стать у заводского станка или взойти на леса новостроек, будут представлять собой всего лишь полурбочего и полустроителя, то есть некондиционный человеческий материал, из которого трудовым коллективам и всему городу только предстоит воссоздать подлинного горожанина-труженика.

Ленинградцы мне рассказывали, как после блокады и разрухи было нелегко переработать и вобрать в себя, в свою среду ту массу привезенных строителей, а точнее — новгородских, псковских, костромских и калининских парней, не столько мастеровитых, сколь просто крепких, жадных до работы. Конечно, их помощь израненному городу была необходима, однако высокая питерская городская культура претерпела нежелательное воздействие: в парках, трамваях,

кинотеатрах появились откровенно подвыпившие люди, на улицах — непривычные глазу ленинградца окурки, смятые сигаретные пачки... И оскорбительный гогот в затемненном кинозале. И сквернословие при свете дня. И драки у пивных ларьков...

Потребовались годы, чтобы одолеть эту стихию.

Скрывать нечего, и в самом городе еще немало своей собственной скверны. Но и этим многотысячным стихийным наплывом поддерживается, подпитывается благоприятная среда для шабашки, халтуры, мздоимства, спекуляции, усушки-утруски, обвеса-обмера, соблазна не завинтить шуруп отверткой, а заколотить его молотком, унести со стройки унитаза, банку краски, моток провода, отвинтить душевую систему в сдаваемом доме и загнать ее за тройк в соседнем... Такому принадлежит не сама стройка, а все, что плохо на ней лежит.

Привыкнув халтурить, делать на авось да лишь бы, такой уже не способен на высокую квалификацию. Даже за большие чаевые он оставляет капающий кран, перекошенный дверной замок, косо повешенный кухонный шкафик, который вскоре срывается со стены вместе с посудой. За хорошие деньги он, может быть, и хотел бы сделать как следует, но не умеет. Не умел и теперь уметь никогда не будет. Мастерство — это не просто ловкость рук, но и труд души.

Итак, со всех сторон в город торопятся электрички. Прибудет сразу несколько людских тысяч. Казалось бы, городу станет легче: все-таки помощь, кто-то из прибывших возьмется за мастерок, за руль, за метлу... Но, увы, как ни странно, город от такой помощи только лихорадит, тут и там возникают перебои в его трудовом ритме. Читаем объявление: «В связи с сельхозработами лаборатория берет кровь только у инвалидов войны». Или: «Парикмахерская не работает. Все в колхозе». Не работают совсем или частично многие почтовые отделения, сберкассы, магазины, киоски, конторы, производства, врачебные и процедурные кабинеты, отменяются занятия в институтах и техникумах, сокращаются или вовсе упраздняются автобусные рейсы.

И вот парадокс (вернее — явление, подобное тому, что возникает в природе при неосторожном вмешательстве в экологические взаимосвязи): завтра утром, на той же электричке, но в обратную сторону, то есть из города в деревню, взамен одних тысяч помчатся иные тысячи. Но ценою подороже. Там будут и врачи, и преподаватели вузов и техникумов, инженеры и техники и иные квалифицированные специалисты всех разрядов и уровней. Поедут кандидаты всевозможных наук и командиры производств, начальники цехов и смен, физики и лирики. Бывает, большие начальники. И даже профессора. Среди них будут и те, кто сегодня спешит в город вечерней электричкой. Только поедут они уже в качестве «шефов» за щедрый государственный счет.

Вот такие пироги: из деревни, бросив свои поля и плантации, едут

делать как-нибудь, на авось, неумело (капающий кран, криво врезанный дверной замок) городские дела; а из города, оставив свои порою мудреные обязанности (анализ крови больных), едут делать тоже кое-как, на авось, неумело дела деревенские...

Прежде это свершалось в виду стихийного бедствия. Теперь стихия стала нормой?

...Но вот с насыпи кто-то закричал:

— Митька-а! Хат! Хте ты запропал? Электричка идет!

И в толпе подхватили:

— Электричка идет!

— Электричка!

## ДОРОГА К ДОМУ

Говорят: жизнь на дорогах. Под этим подразумевается тот заряд эмоционального воздействия, те впечатления, которые человек получает в пути. Даже наша обыденная повседневная формула «дом — работа» была бы неполна, если бы между этими важными и главными компонентами нашей жизни не стояло маленькое тире — дорога.

Что же говорить, когда это маленькое тире превращается в долгую линию, уводящую нас за горизонт...

Да, дорога за горизонт — это прекрасно! Она и манит, и обещает, и волнует. Как-то иначе бьется сердце, острее становятся глаза, и чувствуешь, как за спиной прорезаются крылья. Воистину, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать.

Мне довелось увидеть многое. Видел Кызылкумы — Красные пески, где, несмотря на сорокаградусную жару, местные ребятишки, черные, как стручки акации, гоняли мяч, норовя забить его между двух флегматично дремлющих верблюдов, служивших им футбольными воротами. Вскочил на заснеженные перевалы Джунгарского Алатау, за которым из-под ладони виделся Китай. Пробирался девственными борами Беловежской пуци, напоенными такой хрустально-звонкой тишиной, что далеко слышать, как, падая, стучит по сучьям сорвавшаяся шишка. На таежных увалах Сибири рвал охапками жарки, факельно пылающие в нетронутых травах. Пил воду Сырдарьи и Северной Двины, Кубани и Волги, Тихого Дона и знаменитой Непрядвы на Куликовом поле, пил из Енисея и Ангары, из Онеги-озера и священного моря Байкал. Входил под арку Золотых ворот во Владимире и под арку Зимнего дворца, безмолвно стоял перед невянущими фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре и заглядывал в сыльную келью опального патриарха Никона в Кириллово-Белозерском. Преклоненно замирал в залах Третьяковки и, ошарашенный, смятенный, и в то же время с гордым чувством за величие человеческого духа уходил из Эрмитажа...

А как волнующа одна только Москва, уже исхоженная вдоль и поперек, почти что обжитая за многие наезды. Просты ее улицы — большие, рекоподобные, и малые, ручейково-причудливые в своих извилах — эти Столешников переулок, Сивцев вражек или какой-нибудь проезд Соломенной сторожки. Это вдруг открывшийся в тени липовых бульваров непокрытый Гоголь в дорожной накидке, легендарный дом Ростовых или арбатская церковь, где венчался вдохновенный и полный надежд и замыслов Пушкин с блистательной и тонкой, как белая шахматная королева, Натали...

Да что там! Всего не передать.

И вот всякий раз — наездишься, насмотришься, наудивляешься, голову распирает от впечатлений, приходит момент, когда ноги и глаза уже отказывают: ноги не несут, а взгляд начинает скользить по поверхности — и вдруг неудержимо, ностальгически, с каким-то подскуливанием души захочется к себе, домой, в Курск. Вглядитесь в полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына»: право, приходит такое состояние, которое наиболее полно схвачено и запечатлено в этой картине, где древний и добропочтенный старец-отец, положивший свои добрые руки на спину беглеца, в такие минуты всегда ассоциируется в моем сознании с обликом родного города.

...Как-то поспешно, уже отрешенно бросаешь в чемодан неизрасходованные рубахи, надоевшие галстуки, без сожаления оглядки захлопываешь московский гостиничный номер и с тайной вождеденностью выкрикиваешь таксисту: «На Курский!» В эту минуту он — лучший из всех вокзалов. Многие едут в том направлении — туляки, орловцы, белгородцы и далее — во многие города и веси российского юга, Украины и даже всего Кавказа и Закавказья, но вокзал все же назван не «Тульским», не «Орловским», даже не «Кавказским», а почему-то в угоду твоей душе: «Курский», и все тут!

Нетерпеливо куришь и топчешься на четвертой платформе в ожидании поезда, тоже лучшего из всех поездов, потому что на его занавесках видишь силуэт курского соловья, нашего птичьего полпреда в столице, а когда, наконец, подадут состав и ты предстаешь перед проводницей, учтиво обтирающей чистой тряпкой поручни, она, эта иногда не в меру тучноватая тетенька, кажется тебе наипервейшей красавицей и чуть ли не сестрой родной. А говор ее, наш, черноземный, где каждое «г» как будто обернуто бархотцей, звучит почти что откровением. И весь мчащийся поезд полон этого умягченного говора — наши едут, свои, куряне. И отдыхает душа, и умиротворенно смежаются веки...

Спишь безмятежно, раскованно, почти забывчиво, потому что знаешь: поезд фирменный, никуда тебя, сонного, не завезет, кроме как до родного порога. Но это только пока едешь по незнакомым местам, мимо станционных надписей: «Щекино», «Горбачево», «Мценск», «Змиевка», «Глазуновка»...

Казалось бы: устал, намааялся, спи себе, посапывай под убаюк колес, ан нет же, на рассвете будто кто дернет тебя за вихор, и ты поспешно тянешься рукой к занавеске. Поезд стоит, тишина, меркло светит станционный фонарь, и в полусвете его читаешь азбучные буквы, каждую на отдельном квадратике: «Поныри». Азбучная надпись еще и потому, что слово «Поныри» знают у нас, на огненной земле, даже малые дети... И все: сна как не бывало. Завертелись, заклебились думы, воспоминания: Курская дуга. Сколько ни езжу мимо, но всегда это краткое слово «Поныри» сжимает сердце колючей проволокой окопа. Хватаешься за сигареты и уже до самого конца выходишь в коридор.

Смотришь, еще и еще кому-то не спится, кто-то вышел в коридор, к окошку. А за окном уж заиграл рассвет, вызолотилась намеком дня дальняя полоса над горизонтом, и заворчалось, заходило ватное одеяло тумана над сонной землей. Выбелилось спелое поле пшеницы с мокрым комбайном, прикорнувшим в четкой дреме на часок-другой — до первого луча солнца. Промелькнуло безлюдное, пред-рассветно-сонное село под купами обмякших раakit, потом — одинокая будка с заспанной молодойкой в желтом жилете и с желтым свернутым флажком. А рядом с будкой на веревке — детское бельишко, две-три яблоньки с отяжелевшей антоновкой в пыльных усталых листьях, грядка капусты... Бог ты мой, капуста! — умиляешься ты, вовсе забыв за всякими экзотиками, что на свете есть простая курская капуста... И вот уже перед глазами сизый, осыпанный росой лужок, где наверняка об эту пору за стуком поезда неслышно для нас орут коростели, подушно делят покосы. А тут уж громыхнул железный мосток через полоснувший отсвет зари извив речушки с неказистым ивнячком на излучине, и как раз в эту минуту, чтобы смутить тебя окончательно, беззвучно вспухла вода и разошлась кругами от взыгравшей рыбины. И запоздало признаешь: да это же, черт возьми, Тускарь! Ну как же, вон и та самая кручка, с которой не далее, как этой весной, ловили голавлей на выползка. И глядишь, глядишь, поздно спохватившись, выворачивая шею и вдавливая щекой в стекло: Тускарь же! Что там Сырдарья! Какая Сухона! И не знаешь сам, как и когда без слов запоется:

На дальней станции сойду,  
Трава по пояс...

Ну, а от Свободы до дома — рукой подать. Начинает бугриться тускарное заречье, далеко, аскетично, в перламутровой пустоте неба одиноко выбелилась Акиманная церковь, следом выгнулась дугой насыпная плотина будущего моря, вагон ожил, загучал лавками, закалцал дверьми: Курск!

Нет! Еще не вокзал. Пока только все те же заречные кручи, но уже в высотных башнях домов, то тут, то там вырвавшихся из зелени.

Город на горе, город на заре, — просятся стихи. Я не знаю здесь, в центре России, других таких городских высоко вознесшихся силуэтов. Тула? — нет, ровна, как столешница. Орел? — тоже нет. Разве что Киев, который некогда срубил и наш Курск себе в подобие. И мы горды, что нам сегодня 950. Впрочем, это ведь только летописное упоминание. Наверняка нам тысяча, а то и за тысячу. Кто теперь знает точно... Знаем только, что когда в самом начале XI века отрок Феодосий ушел из Курска, чтобы стать игуменом Киево-Печерской лавры, а затем остаться в веках одним из первых наших Любомудров и просветителей, в Курске уже были книги. Стало быть, были и полки для книг, а над полками — крыша, а крыши — это уже город... И стоял он, высокий, теремной и башенный, как раз на самом лезвии хребта между Тускарью и Куром. Как раз там, на княжеском подворье, колыхались копья и пики дружины буй-тура Всеволода, уходившего в знаменитый степной поход. Именно оттуда, с тех курских высот, прозвучало гордое Всеволодово слово:

«А мои ти куряне сведомы кмети: под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копия вскормлены, пути им ведомы, яругы им знаемы, луци у них напряжены, тули отворены, сабли иозострены, сами скачут, аки серы волци в поле, ищучи себе чти, а князю славы».

Проходили века, менялся облик города, принимал другие очертания его водораздельный силуэт. Был он крепостным оплотом Киевской Руси — нагрянул Батый, спалил все дочиста. Потом пришли стрельцы и пушкари, отстроили все наново, и стал он оплотом Руси Московской...

Но ни в какие века так не менялся Курск своим лицом и душой, как в наше, советское время, а точнее сказать, за послевоенные годы. Многие куряне, живущие в других концах страны, скажем, лет двадцать, уже с трудом узнают его улицы. А такие, как улицу Ленина, или Радищева, или, допустим, Энгельса и Карла Маркса вовсе не узнают. А разве узнать наше Завокзалье или рышковское Засеймье?

Я ведь еще помню это довоенное Засеймье тридцатых годов. То были просто деревеньки: Ламоново, Рышково, Цветово, Гуторово... Неказистые соломенные деревеньки, с плетнями, плетневыми хлевами, с серо одетыми бабами и мужиками. От города их отделяла речная уремная чащоба, через Сейм был переброшен хилый деревянный мосток. В ночь они собирали свои возки на воскресный базар, к рассвету по булыжной мостовой взбирались на Белую гору (ныне многоэтажная улица Энгельса) и, тряся и соря сеном, полоша сонные пригородные улицы кекеканьем гусей, скрипом колес и цоканьем копыт косматых низкорослых лошадемок, спешили по Дзержинской, по Красноармейской на Покровский рынок.

Да и сам город, честно сказать, не ахти как выглядел в те годы. Давайте мысленно уберем все, что мы настроили за последние два десятка лет, а вместо этого поставим прежние мешанские домишки и купеческие потуги на жалкую двухэтажную респектабельность.

Сдерем до булыжника весь асфальт, посыплем сверху конским навозом и сенной трухой, ибо булыжные улицы мести метлой было просто невозможно и их время от времени смывали лишь летние ливни. Давайте к этому прибавим темень и грязь заштатных улиц и переулков, подслеповатые лавчонки, пропахшие рогожей и керосином, натыкаем пожарных вышек, которые, однако, не избавляли город от пожаров, служивших захватывающим зрелищем для босоногих курских мальчишек. Хилые предприятия, жестяной трамвайчик, еще не ходивший к вокзалу и едва пробивавшийся к Барнышовке...

Это город в первую свою пятилетку. А что же тогда было до революции? Гляжу на старые фотографии Курска. На Красной площади, где ныне чистота, торжественный порядок, голубые ели и памятник Владимиру Ильичу, на этой самой площади неопрятно, муравейно копошатся людом обжорные ряды, а возле собора, где ныне кинотеатр «Октябрь», идет богослужение. Толпа попов в расшитых рясах, дымят кадила, напряженные лица поющих дьяконов. Странно, невообразимо, дико себе представить это на нашей главной площади!

Нет, я не открещиваюсь от прошлого, время отсекло в нем много хорошего, чем можно поистине гордиться. Но я живой человек, и мне свойственно и естественно любить все живое, настоящее, сегодняшнее. А следовательно, и все то, что грядет завтра.

Я люблю утро.

Вот оно встает над родным городом. В окнах домов, пока только самых последних этажей, воссиянно отражается взошедшее солнце. И кажется, будто город открывает глаза и еще издали приветно всматривается в бегущий в его объятия поезд.

Здравствуй, Курск!  
Тенистая прохлада!  
С дороги пыль стяхну:  
Я не был столько дней...  
Все повидал,  
Но ничего не надо  
Взамен тебя,  
Твоих родных камней.

## Н О С

(Из опыта художественной рецензии на стихи поэта  
и друга Ивана Зиборова)

Когда меня не было дома, звонил из района Ваня. Он забыл в нашей машине плащ. Прочие вещи — рюкзак, полиэтиленовое ведро, резиновые сапоги — взял, а плащ забыл. Одежка старая, расхожая, бог бы с ней, но просил посмотреть, нет ли в карманах ключа от сарая.



А дело в том, что наконец-то Ваня получил долгожданную, выстраданную по чужим углам и неоднократно заочно обмытую квартиру. Это был первый в районном городке двухэтажный жилой, со всеми запроектированными удобствами дом, гордо вознесшийся над соседними обывательскими домовладениями, выглядевшими сверху запыленными, распластанными и ничтожными. Неудивительно, что при сдаче такого красавца возник митинг, играл оркестр, а предрик поданными на подушечке ножницами перерезывал розовые ленточки у обоих подъездов. Вскоре, однако, выяснилось, что встроенные коммунальные удобства по причине отсутствия в патриархальном городке канализации носили чисто декоративный характер, так что душевую Ваня приспособил под хранение старой обуви, прочитанных газет, детского велосипеда, лыж и грибной корзины, а по туалетным делам бегал во двор на общих основаниях. Но зато к дому прилагался целый блок симпатичных сарайчиков, в которых жильцы могли бы не только хранить старую, пришедшую в негодность утварь, но и по своему вкусу и наклонностям разводить то ли свиношек, то ли кур с утками, а можно и кроликов и даже престижных нутрий, что в данный момент весьма и весьма одобряется местными властями. А кроме того, в каждом сарайке имелся погреб, чему в условиях коммунального общежития отдавалось гораздо большее предпочтение, нежели встроенному санузелу, к которому местные жители, за исключением разве что незначительного числа высшего разряда, вовсе не приучены.

Своим надворным владением Ваня распорядился так: нижнюю часть, то есть погреб, отдал в полное распоряжение жены Клавы; туда ссыпали картошку, а на полочках расставили баночные маринады и соленья, датированные самой Клавой, женщиной обстоятельной и считающей во всем порядок. Бельэтажную же часть Ваня оставил за собой, мечтая со временем разместить здесь новенький мопед. Но приобретение колесного друга было проблематично, поскольку все сбережения ушли на Клавины квартирные прихоти, и он при нужде одалживал велосипед у знакомых. Пока же за неимением транспортного средства Ваня, будучи в душе и образе поэтом, поставил в сарайке общежитскую тумбочку для написания стихов и дощатый топчанчик для обдумывания оных. И надо же: стихи писались в сарайке ничуть не хуже, чем у тех, кто в это время находился в Коктебеле или даже легендарной Пицунде, о существовании которых он и не подозревал. Ну, например:

Деревья рвутся  
В высоту.  
У медуниц  
Медовый месяц,  
И мне молчать  
Невмоготу.  
Знать, время  
Подошло для песен.

И Ваня счастливо сочинял в своем сарайке. Я же для убедительности позволю себе процитировать еще несколько строчек — о бабушкином сундуке:

И сторожит он бабкины секреты,  
Ее простой крестьянский гардероб,  
И пенсию в платочке, и монеты,  
И покрывало в клеточку — на гроб...

И все это писано даже не ручкой, а одним только восьмикопеечным стержнем, похожим на ржаную соломинку.

Ах, милый, непритязательный Ваня, крестьянский Федотов сын, истинно русский человек! Вот и сорок скоро, а глаза округлые, удивленные, как у малого дитя. Он, как и всякий русский, в общем-то не против прогресса и даже мечтает проехаться на мопеде, но легко обошелся бы и без оногo, как всю жизнь обходился без молотка и клещей в доме, заколачивая гвоздь поленом и выдергивая пятерней, предвzрительно пошатая его из стороны в сторону. Вернись завтра каменный век, Ваня не испытал бы в нем неудобств, даже не заметил бы его возвращения, поскольку довольствовался самым малым. Ну, скажем, рыбачил он на неoшкуренные орешины, червей копал не лопатой, а палкой и собирал их не в специальную коробку, снабженную отверстиями в крышке для доступа воздуха, каковой располагает всякий уважающий себя удильщик, а заворачивал их в лопушный лист или же в газету, а то и в носовой платок, только что отутюженный Клавой.

Глядя, как Ваня размахивал неказистым ореховым хлыстом, дабы забросить наглухо привязанную к нему снасть, я подарил ему респектабельное трехколенное удилице, снабженное пропускными колечками и миниатюрной алюминиевой шпулей. Ваня счастливо просиял, но тут же, зайдя за кустики, переиначил подарок на свой лад: снял и отложил в сторону за ненадобностью катушку, а лесу привязал за самое последнее вершинное колечко. Узнав же, что удочку нельзя класть на воду, а следует каждый раз опускать на специально воткнутый развильник, он и вовсе к ней охладел: «Подумаешь, барыня!» — и вернулся к своей орешине, которая, по его словам, ничего не стоит, задаром растет в любом лесном овраге и с которой можно не цацкаться, класть на воду (отчего, по-видимому, и пошло народное: прятать концы в воду) и вообще оставить после рыбалки на берегу — пусть пользуются другие, а самому идти домой налегке, необремененно. Он никак не мог взять в резон, почему, за какие такие особенные достоинства японская удочка оценивается почти в сто рублей (по Ваниным меркам — дороже велосипеда), и был непоколебимо убежден, что, сколь японец ни изощряйся, все равно лучше, легче, проще и надежней орешины ему не придумать. И он готов поспорить, что поймает на лещинковый прутик больше, нежели кто-либо на япон-

скую диковину. И это воистину так! Пока мы собирали свои сверкающие арматурой и лаком удочки, крепили к ним пулеметно трещащие катушки, продевали в колечки импортные радужные сатурны, пока копались в пеналах, теряясь в выборе, какой из всех пенопластовых, полиэтиленовых, полистироловых, дутых, полых, точеных, сложнокombинированных и празднично раскрашенных поплавков выбрать наиболее подходящий к данному водоему, да пока под каждое удилице отыщем и воткнем рогульку, да вынем из рюкзака, развернем и поставим складной стульчик, да сделаем несколько холостых забросов для отмера глубины, Ваня, орудую только орешинкой, посвистывая кончиком с неизменным гусиным пёрышком на лесе, подкидывая эту несерьезную ребячливую снасть то под затопленный лозовой кустик, то в прогалы ряски и водокраса, к тому времени уже успевал набросать на траву кучку матерых карасей, похожих на важных, осанистых столоначальников.

Не пришлось ему и спиннинг со всеми его премудростями, и Ваня предпочитал ловить щук простым забросом, перебирая и вываживая затем шнур руками, как делали здешние щукари еще во времена Червоной Руси. И почему-то щукам больше нравился именно этот стародавний способ.

Вскоре все это Ване наскучивало, и он принимался собирать на костер сушняк, выскивая зверобой для заварки, или же шел в ближайшее селение, просто так, поглядеть, чем живут люди, какие у них дома и скотина, что продают в сельпо, в особом же настроении забредал на ферму почитать бабёнкам стихи, и те, сперва молчаливые и настороженные, под конец отогревшись душой, наделяли залетного и такого пригожего картузом свежайших яиц или трехлитровой крынкой еще теплого парного молока.

Сухой, как стручок, поджарый, дочерна загорелый, с распахнутой, сахарно сверкающей улыбкой, легкий на ноги, готовый куда-либо сбегать, принести, пособить, Ваня всегда весел, приветлив, ровен со всеми и счастлив самым обыденным, простым и бескорыстным — сиянием солнышка, ветряным шумом раки и ощущением под собой родной тверди, исхоженной им вдоль и поперек.

А гром гремел с такою силой  
По всей небесной мостовой,  
Что даже молния крестилась  
Дрожащей огненной рукой.

— Нет, лучше — вот! Ребята, послушайте! Может, что не так, тогда скажете.

Не опасаясь  
Сил несметных,

Нацеленных куда-то  
Вдаль,  
Пичужка села  
На ракету  
И клюв почистила  
О сталь.

- А? Ну как? Только честно!
- Ваня! Ты настоящий философ!
- Нет, правда, получилось? Я хотел в защиту мира...
- Еще спрашиваешь...
- Может, мне сбегать, раз так?

И вот сегодня утром он звонил, говорил, что после тех событий потерял ключ: и от насущной картошки, и от поэтического стола. Все бы ничего, да днями возвратится с заочной сессии Клава, наверняка задаст чертей. Сказал, что через часок-другой позвонит еще.

Я сходил в гараж и действительно обнаружил в багажнике Ванин походный плащик. Принес его домой и в ожидании телефонного звонка принялся выкладывать на стол содержимое его карманов. В правом попалась злополучная чеховская гайка для закидушки, которую Ваня, надо полагать, не отвинтил от проходящей через городок железной дороги, а подобрал на тряском, ухабистом грейдере. В сплюснутом газетном комке, когда я его развернул и расправил, оказались, извините, засохшие червяки.

Еще там оказался малоинтересный ключ для подтягивания велосипедных спиц, два больших гвоздя непонятого назначения, клубок запутанной лески с поржавевшими крючками, а на самом дне — хлебное крошево пополам с табаком.

В левом же кармане обнаружился весьма замызганный блокнотик, из которого посыпались все те же хлебные и табачные крошки, как только я вздумал его перелистнуть. Нашелся и тот самый восьмикопеечный стерженек, надломленный и изогнутый наподобие задней ноги кузнечика, которым тем не менее Ваня исхитряется писать свои стихи. Ну и еще пачка неизменного «беломора» с остатками пустых, высыпавшихся папирос. А если быть следственно-педантичным, то еще — дырка в самом углу кармана... Все! Черт возьми, неужто верно говорят: «Покажи, что в твоих карманах, и я скажу, кто ты...»

Я в другой раз осмотрел плащ и обнаружил, что еще какое-то содержимое оттопыривает нагрудный карман. Я запустил туда руку и вытащил на свет божий пластмассовые солнцезащитные очки с пришитым к ним картонным носом. Так это же знаменитый Ванин нос, о котором у нас ходят легенды! Нет, нет, об этом надо непременно рассказать!

А дело было вот как...

Только в этом году Ване все-таки удалось занять собственный транспорт. Не мопед с моторчиком, как мечталось, выпускающий

позади голубые кольца дыма, а всего лишь скромный велосипед. Вѣлик был приобретен с рук по сходной цене у вполне приличной старушки. Правда, уже потом в поездке выяснилось, что самокат немного восьмерил задним колесом, отчего оставлял на влажном и сыпучем грунте весьма извилистые, как бы танцующие отпечатки, из чего можно было сделать не совсем объективный вывод относительно его владельца, но в остальном выглядел еще бодро и молодцевато. А тут как раз подоспел июнь, мягкая летняя теплынь с молодыми громами, все цвело, благоухало, отнерестившиеся караси буровились по мелководьям, выставив округлые спины, так что усидеть дома было просто невозможно, и Ваня, вдохновляемый сознанием, что у него теперь велосипед, все свободное от службы время пропадал на окрестных прудах и речушках. Обломав о колено несколько удилиц, Клава, наконец, поняла, что это у него непоколебимо, и выговорила себе лишь одно неперемнное условие, чтобы — никаких ночевок, на то и куплен велосипед.

Тем временем сорняки тоже не дремали под благодатным небом, расторопнее других потянулись к солнцу шустрыми побегам, вездесущими усиками и упористыми шипами и зацепками. Глянуть со стороны, так казалось, что на поле посеяны не картошка со свеклой, а сплошной осот и сурепка. Неотложно был объявлен месячник по борьбе с сорняками, который возглавил сам Первый, человек решительный и не терпящий прекословия. Было также объявлено, что без соответствующей врачебной справки или иного письменного решения никто не может появляться после восьми ноль-ноль утра на базарной площади, у пивного павильона и в иных общественных местах, а также на территории собственного огорода, что будет рассматриваться как злостный саботаж и дезертирство. Всем учреждениям и организациям был определен фронт работ, который, в свою очередь, разбили на индивидуальные участки под личную ответственность. Город всколыхнулся, как перед осадой. Многие люди побросали свои повседневные дела и обязанности — стрижку волос в парикмахерской, выдачу сбережений по вкладам, оформление гражданских браков, прием заказов по раскрою и шитью, ремонту обуви и телевизоров, рассмотрение судебных исков, продажу москательных, музыкальных и книжно-канцелярских товаров и т. п. — и кинулись доставать всегда припасенные в кладовках, сараях и на чердаках мотыги и тяпки, как некогда предки-северяне доставали бердыши и топоры по случаю половецкого нашествия. Как утверждают философы, в истории все повторяется по восходящей спирали. Ване даже приснился ужасный сон, будто городок и взаправду обложили полчища сорняков и что в районе восточной городской околицы их головные отряды ворвались в пределы районного центра. Самоотверженно отбивавшиеся тяпками бойцы народного ополчения во главе с Первым вынуждены были отступить перед превосходящими силами и запереться в подвалах

«Сельхозтехники». Кинувшийся на выручку главный агроном района на поливальной машине с гербицидами был схвачен и выпорот чертополохом. Потом привиделось, будто самого Первого, босого, в одном исподнем, со связанными повиликой руками провел по главной улице эскорт полевых бодяков в белых папахах и будто Первый успел выкрикнуть: «Товарищи! Месячник еще не окончен!..» А вслед за этим Ваня услышал топот на лестнице собственного дома и ужасающий стук в запертую дверь. Ваня кинулся схватить что-нибудь железное, но железного в доме ничего не попадалось, и он, чувствуя всему конец, проснулся в холодном поту и с шевелящимися волосами.

Далее сам Ваня так рассказывал о последующих событиях.

Конечно, тяпкой помахать городскому человеку тоже надо, коль больше махать некому. Я и махал вместе со всеми, свою положенную делянку протяпал. Но месячник месячником, а живой душе порыбачить тоже охота. Иначе она завянет и скукожится. А скукоженная душа — ни мне, ни государству, ведь верно? И вот в воскресное утро, еще до солнца, вывел я свой велосипед с притороченным рюкзаком и удочками да и шмыгнул в Сергиевку. Подъезжаю, а там, на пруду, уже вся честная компания: на мыску главный районный пчеловод Воробьев удочки разматывает; чуть поодаль директор типографии Болхов хлеб с макухой в кулаке мнет, «соску» на карпов готовит; а по ту сторону ракитового куста облюбовал себе местечко предкомитета народного контроля Ларичев, веером рассыпает перед собой комбикорм. Дальше по берегу устроились еще какие-то рыбачишки, плохо различимые за туманцем. А утро выдалось — на сто сот! Тишина! Теплынь! Вода, что парное молоко. Все вокруг будто так и говорит: «Добро пожаловать!» Что еще для счастья надо?

До синевы промыто небо,  
И звезд померкли фонари,  
И солнце —  
Караваем хлеба  
На полотенце  
Утренней зари.

Все устроились как нельзя лучше, народный контроль для полного комфорта даже костерок рядом запалил — от назойливых комаров, как вдруг кто-то завопил от плотины: «Полундра! Разбегайся! Сам Первый едет!» И верно, на плотину выскочила «Волга», тут же распахнулась дверца, и в лучах солнца предстал сам Первый — облитый багрянцем, монументальный, с широко расставленными ногами, означавшими, что их хозяин настроен воинственно и беспощадно.

— А-а! — произнес он громоподобно и торжествующе, и эхо подхватило и понесло по всему водоему: — «А-а! А-а!» — Вы здесь, соколики?! А ну, — обратился он к кому-то в машине. — Записывай!

Сперва стихоплета запиши. Все про травки-муравки сочиняет, ан, нет — по этим муравкам да с тыпочкой пройтись... Запиши: полгода никаких его стихов в районной газете не печатать. Записал? Теперь Болхова пиши, типографщика. Ишь ты какой: про месячник объявления печатает, а сам — с удочкой. Хорош гусь! И пчеловод тут! Ты что же, друг любезный, решил на сурепке мед собирать? А ну, подчеркни его фамилию жирной чертой: я с ним особо поговорю. Записал пчеловода? А это кто? Кто там за раковой стыдливо прячется? Вижу, вижу! Выходи-ка, погляжу на стыдливого! А-а, да это наш народный контроль, наша совесть в кусты улизнуть хочет. Подчеркни-ка его двумя жирными чертами.

Остальные, побросав снасти, успели разбежаться, попрятались в ракутнике, залегли в траве и складках пересеченной местности. — Ну, голубки-соколики, не взыщите, если что...— подытожил Первый, энергично хлопнул дверцей и укатил.

А вскоре на одном из активов все записанные имена были преданы суровой огласке, и рыболовное племя как-то вдруг поредело. Тем более что пошли упорные слухи, будто по воскресеньям Первый, просыпаясь с восходом, самолично патрулирует город, делает засады на Сергиевской дороге, а председателю тамошнего сельсовета будто бы дадено указание тайно всех фотографировать для городского желтого окна «Не проходите мимо». При таких жестких мерах поневоле убоишься соваться в Сергиевку, и вот тогда-то мелькнула у Вани идея о спасительном носе. Не откладывая в долгий ящик, он приступил к делу. Из намоченных в клейстере комочков бумаги вылепил на продолговатой картофелине крупный шишковатый нос, раскрасил его под старческую озяблость, снизу приклеил пеньковые усы и все это прикрепил к солнцезащитным очкам. Напялив на себя бумажный нос с очками и старую шляпу, Ваня взглянул в зеркало, совершенно не признал себя ни в какой малости и произнес:

— Мы еще посмотрим, черт побери!

Еще высок и чист  
Мой полдень,  
И слух и зрение  
Остры.  
И при любой  
Плохой погоде  
Не гаснет свет  
Моей звезды.

И верно, свет Ваниной звезды еще долго не погасал. Нос работал безукоризненно. Никто не признавал Ваню в этом сутулом, в памяти шляпе старике на стареньком восьмерящем велосипеде с ореховыми удочками. Заведомо водрузив нос с усами еще в своем переулке, Ваня не спеша и непринужденно крутил педали по главной улице мимо

проницательных, хотя и зашторенных окон высокого районного учреждения, мимо постового ГАИ, от скуки лужающего семечки на перекрестке, безбоязненно выруливал на Сергиевское шоссе, и ему почтительно, как всякому ушедшему на заслуженный отдых, уступал дорогу встречный транспорт и даже легковые машины с короткими числами и нолями на номерных знаках.

А однажды, тоже на Сергиевском шоссе, ему долго, зычно посигналила нагонявшая сзади машина. Ваня обернулся и увидел за ветровым стеклом Первого. Черная «Волга» тем временем поравнялась с велосипедом, и в открытую дверцу Первый окликнул:

— Эй, молодой человек!

Ваня хотел было сделать вид, что это его, старика, не касается, продолжал давить на педали, еще больше сутулясь и пригибая голову, но Первый, повысив голос, повторил:

— Эй, Арлекин, я тебя знаю.

И Ваня понял, что свет его звезды погас: кто-то выдал его со всеми потрохами. И он покорно остановился и сошел с велосипеда.

— Ну что с тобой делать? То, что хотелось бы,— не могу: я при исполнении своих обязанностей... Видно, придется сделать то, что могу, но не хотелось бы: за надувательство и непочтенное получай еще полгода. А каких, сам знаешь. Теперь доволен?

Ваня снял нос и широко, обезоруживающе улыбнулся, отчего Первый фыркнул, резко нажал на газ и умчался по дороге на Сергиевку.

Тяпочный месяцник, слава богу, минул, отшумела и сенозаготовительная кампания, и наступила короткая, но долгожданная передышка. Снова нормально заработали учреждения и организации, люди пообмякли и подобрали друг к другу. И вот в один из таких дней за Ваней прибежал нарочный, сказал, что срочно вызывает Первый.

Когда Ваня вошел в большой прохладный кабинет, тот сидел за столом, устало обхватив голову. Но услышав Ванины шаги, отнял руки и показал на глубокое кресло у стола.

— Садись.

Ваня аккуратно присел, с открытым любопытством глядя на Первого своими округлыми, редко мигающими глазами.

— Я чего тебя позвал... Не догадываешься?

— Н-нет...

— Так вот что... Я ведь тогда тоже погорячился. Ну и ты хорош — с этим своим носом. Это надо же додуматься!..— И Первый искренне расхохотался.— Ну, ладно. Ты вот что... Стихи давай. Без них тоже нельзя. Все директивы да директивы... Много, поди, написал?

— Когда же? — широко, миролюбиво улыбнулся Ваня.— Все месячники да месячники...

— Ну, ладно, ладно...— слегка нахмурился Первый.— Ладно тебе скромничать. Почитай-ка что-нибудь, а я послушаю.



- Правда, нечего. Ну, разве про маршала...  
— А что же — про маршала? Ну-ка, ну-ка...

Заныло сердце необычно,  
И мгла глаза заволокла,  
Когда на площади столичной  
Лихая конница  
Пошла.

Она плыла,  
Танцую в марше,  
Неудержима и лиха,  
И было видно — старый маршал  
Рукой кому-то помахал.

И жилка на виске забилась,  
И дрогнул мускул  
На руке.  
И покатилаь,  
Покатилась  
Слеза по маршальской  
Щеке...

Первый долго сидел, снова охватив голову обеими руками.

— М-да... И меня чуть слезой не прошибло. Вот ведь как можно сказать по-человечески даже о маршале. Да, брат, бежит время... Хорошо написал. И грустно. Молодец! Завтра же отнеси в газету. Правда, у тебя там два раза помянуто «лихая» и «лиха», ты поправь, пожалуйста. А в целом — все здорово! Впрочем, для газеты немножко грустноват конец. Надо бы что-нибудь такое... Сам понимаешь... Чаю хочешь?

— Так и вы не хотите, — улыбнулся Ваня.

— А ты догадлив... Гм-м... Нет, здорово ты надул меня с этим дурацким носом! Шалишь, брат! Не на того напал!

— Наверно, анонимку написали.

— Ну, это секрет, — засмеялся Первый. — Напугался небось, когда я вдруг сзади подъехал? Поди, и до сих пор удочек в руки не берешь? Вот так-то ослушничать.

Ваня снова широко улыбнулся своими крепкими, один в один, сахарными зубами.

— Ну, ладно... Если чаю не хочешь, давай хоть покурим, что ли... Как говорится, трубку мира выкурим.

Первый взял со стола массивный портсигар, щелкнул крышкой, из-под которой прямо пахнуло хорошими сигаретами.

— Только извини, — сказал он, похлопав себя по карманам. — Вот спичек, кажется, у меня нет. Где-то, наверно, оставил, у тебя найдутся?

— Это можно.— Ваня готовно подал коробок, и тотчас оттуда что-то стремительно, так что было не разглядеть, скакнуло и угодило Первому в самый нос. Первый, ничего не понимая, машинально провел ладонью по носу, но тут же из коробка выскочило еще что-то и скакнуло на его плечо. А то, что соскочило с носа, на мгновение уселось на картонную папку и тут же скакнуло на пол. Ваня приподнялся, сделал ладочку лодочкой и прихлопнул это что-то на плече Первого.

— Кузнечики,— смущенно улыбался Ваня.— На них голавль хорошо клюет. А спички — вот они, в другом кармане были. Извините, перепутал.

— Ну, знаешь...— нахмурился Первый, видимо, досадуя, что начатый разговор так глупо и нелепо испорчен. Но, подвигав бровями, Первый вдруг отвалился на спинку кресла и зашелся в тряском и беззвучном хохоте.

...Наконец позвонил Ваня из своего районного далека.

— Ну что? Плащ нашелся?

— Нашелся! Но, знаешь, ключа нигде нет... Хочешь, я перечислю, что было в карманах?

— А-а, ерунда!

— А твой нос?

— Дело прошлое,— засмеялся Ваня.— Оставьте у себя. Может, вам когда пригодится...

## КРАСКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Пусть мне твердят, что есть края иные,  
Что в мире есть иная красота.  
А я люблю свои места родные,  
Свои родные, милые места...

*Из песни.*

Сказывают древние книги, будто великий Дионисий, замыслив расписать новоявленный храм, собирал холщовую подорожницу и уходил окрест — в лесную тишь, в одинокое раздумье. Заповедная нехоженность Ферапонтова межозерья, пряный ладанный дух разомлевших златоствольных боров и хрусткая настороженность под их сомкнувшимися кронами, где далеко слышать, как стремительно возносится, шуршит коготками по сухому корью осторожная белка или как слюдяно, ломко трепещет крылами стрекоза над фиолетовой свечкой кипрея — это тихое общение с птицами, травами и родной землей отрешало схимного живописца от расслабляющей повседневности, очищало и возвышало душу, звало куда-то ввысь и заодно собирало воедино, копило в нем слабеющие силы для очередного бессмертного творения.

Но была в том одиноком скитании и своя корысть: пройдет ли Дионисий верховолочьем, берегом ли ручья, сам тем временем неотступно высматривает всякие земные обозначения. Растирает в щепоти мелки и глины, крошит пестиком известняки и цветные камушки, подобранные на перекатах, толчет их в порошок в походной ступе, а потом замешивает в плошке на ключевой воде, пачкает цветной кашицей припасенные дощечки. И долго глядит сощураясь, примериваясь к полученному колеру.

Казалось бы, что можно извлечь из этих спекшихся комьев, из овражных осыпей, озерной гальки или сумрачных ливневых размывов... Но посмотрите на многовековые невянущие фрески, и вы затихнете восхищенно: какое празднество красок! Хотя и нет здесь ни откровенно красного, ни синего, ни зеленого... Любил тонкий художник мягкие, нежные тона, почти неощутимые переходы, от которых сладко благоговела, смягчалась современная ему человеческая душа, теплилась надеждой. Розово-красный он укрощал до легкой розовости или малиновости, душную зелень смягчал до прозрачной овсяной зеленцы, а охру — до золотистой соломинистости. А между этими умягченными тонами неприметно пускал еще больше умягченные тональности, и оттого все храмовые росписи — и на стенах, и на сводах, и на опорных столбах — обретали воздушнoleгкий, серебристо-радужный колорит, подобный то ли цветной изморози, то ли нерукотворному узорочью. И эта тонкая, неуловимая для глаза вибрация полутонов сообщала живописи чарующее необыкновение!

К расцвету своего мастерства Дионисий извлек из окрестных долов, яруг и холмушек около ста сорока видов красителей и был убежден, что это далеко не все и что красочному воссиянию русской земли несть предела. Надобно только воистину загореться, захотеть одержимо в земной обыкновенности увидеть сокрытую красу и радость и уловить, подглядеть в простой невзрачной тверди как бы застенчивую, но всегда дивную, нежную улыбку матери-природы. Подвижничество это великое, радостное, как и всякий труд во всеобщее благо и всеобщее спасение, и сил на то утаивать не можно, думал о своем призвании Дионисий.

В наше время, однако, уже никто не скитается по глухим яругам с пестиком и ступой. Ныне «улыбку природы» можно без хлопот приобрести в магазине «Канцтовары» или даже в ином просвещенном сельпо. Продается она уже в готовых тюбах. Удобно и просто: отвинтил колпачок, надавил большим пальцем на округлое матово лоснящееся брюшко упаковки и — пожалуйста! Благо, что и всякие кисти, холсты, картоны, уже загрунтованные, готовые к исполнению, тоже продаются в достатке. Достигнутый прогресс избавил современного живописца от самой докучливой (с нашей точки зрения) обузы — добывать необходимые краски, освободив его для чисто

творческого дела: бери кисть — и твори, выдумывай, пробуй! Было бы и вовсе бесхлопотно, если бы вот так же, запросто нажав пальцем, можно было выдавить из одного тюбика, скажем, необыкновенный замысел, а из другого — вдохновение. Или, допустим, зашел в ателье и заказал себе пару крыл для творческого взлета...

Но, видно, искусство не терпит расслабленности, тем более сделок с совестью, порождающих лень души и меркантильные помыслы. Напротив, оно требует постоянного преодоления задуманного, способствуя, в свою очередь, преодолению художником самого себя и захватывая его той одержимостью, когда, как точно сказал Дионисий, «сил утаивать не можно». Так что как ни всемогущ прогресс, но вдохновения в лавке пока не купишь. Тут изощренный человеческий ум спасовал, ничего не придумал, и все, что касалось творческого взлета, осталось по-старому, как и при Дионисии: если хочешь чего достичь — иди и поклонись родной земле. Все остальное — от лукавого.

Тут подоспела пора рассказать одну наглядную притчу.

В послевоенную неустроенную пору откололась от голодной деревни, от обессиленной курской земли тетушка моя Валентина. Не выдержала молодая девка лебеды, завербовалась куда глаза глядят, и завез ее оргнабор аж в озерно-скальную Карелию. Там она сделалась заправским прорывником, нажила семью и до самой пенсии и в снег, и в слякоть прочертомила в каменном карьере. Всю жизнь проходила в закоженелой брезентовой робе, в железной каске поверх платка, с милицейским свистком на шее, дабы никто не угодил под тротилловую шашку. Ушла на заслуженный вся простуженная, с негнущейся спиной и огрубелыми, почти окаменелыми пальцами. И лишь тогда только наконец вырвалась на родину — через тридцать шесть лет! Ну, конечно, воды за это время утекло много. Приехала в прежнюю свою деревню, сама никем не узнаваемая, ничего и никого не узнавая: все переменялось, перестроилось, ни одного знакомого дома на деревенской улице, ни одного знакомого лица... Глядит вокруг тетка Валентина, волнуется, силится что-то вспомнить, вздыхает горестно, и слезы непроизвольно катятся по ее широкому заветренному лицу, капают за тучную пазуху.

— Ох, девки милые! — запричетывала она, глядя за реку. — Вы хоть все скопом живете, на прежнем месте. А вот я, сорока, залетела... Да чего уж теперь говорить, жизнь прожита: там у меня дом, внуки, корова теперь в окошко тычется: хозяйку ждет... А все ж душа моя напололам разрывається. Тут-то мне все роднее: вот и небушко без хмари, и ветер наш, травный, покосный... Чуете: живой чебрец! — Она шумно вздыхает, ловит распахнутым ртом полуденный ветер и, не вытирая слез, говорит: — Вот полечу обратно, теперь, видать, уж насовсем. Не свидимся больше. Ничегошеньки мне не дарите на прощание, ничего не надо, все у меня теперь есть: шмутки, полированная скарбота... Только дайте набрать землицы! Хоть горсточку,

хоть щепотку. Я ж по ней бегала босой да несмышленной. А теперь мама наша под ней лежит... Вот повезу с собой жменьку, хоть когда прикоснусь, понюхаю, а не то в слабую минутку потужу-погорюю, что так у меня нескладно получилось...

И вот вопрос: что же, выходит, Карелия для тетки Валентины не своя земля, чужбина? Своя-то она своя, советская, одна, общей границей опоясанная, а для тетушкиных детей — даже родина. Но так вот устроена душа человеческая, что внутри общего для всех нас отечества у каждого есть еще и особый уголок, та заветная земля, где, как говорят, пупок ниткой вязан.

Если бы человеку дано было выбирать себе малую родину, то один предпочел бы берег южного моря, где благодатно зреют виноградные гроздья под неумолчный накат белой ласковой волны. Другой выбрал бы величавые горы, у подножия которых трепещет радуга над водопадом, роняя цветные дождики на гранатовые рощи. Третий избрал бы соседство могучей реки, пахнущей арбузами, плотами, рыбой, большой открытой водой, а еще дизельным дымком от натужно выгребаящих против течения упористых буксиров. А может, кто-то выбрал бы себе ту же синеокую Карелию, которая и на самом деле прекрасна своим Онегой-озером, рубленой стариной и белыми посеребренными ночами; или огнедышащую вулканами Камчатку, где по спинам идущих на нерест лососей, сказывают, можно перейти на другую сторону реки...

Но родину, как и мать, не выбирают. Она у всех такая, какая досталась от дедов и отцов.

Нам, курянам, досталась по наследию курская земля.

Нет у нее ни морских берегов, ни горных радужных водопадов, ни могучих рек... Ее небо не багрянят огненные жерла вулканов, оно не мерцает дивными всполохами северного сияния.

Бунин назвал эту местность сдержанным, но все-таки удивительным словом: подстепье. Мол, оно, конечно, у вас тут уже далеко не те леса, что, скажем, за Орлом, под Белевом и Тарусой, и еще не те раздольные степи, каковые раскинутся южнее, по-за Доном и по причерноморской Таврии, нет, не то и не другое, а нечто смешанное, среднее между лесами и степями — вот именно лесостепь, или, по-бунински: подстепье. Ну, а ежели положить руку на сердце, то уж какая там нынче лесостепь... Потому как те невеликие леса, зашедшие к нам от северных соседей, мы, неразумные, порядком извели, а прежние степушки тоже начисто позапахивали, оставив разве что самую кроху былой степи в Стрелецком заповеднике. А еще про нас говорят: среднерусская полоса, и в этом бесстрастном обозначении есть привкус какой-то безылой усредненности. Ко всему тому известный поэт сделал такое наблюдение, может быть, не совсем летное для курянок, хотя он, по его же признанию, никого не хотел обидеть:

Очевидный факт, но не печальный,  
Так как все курносые носы  
Вырастают у людей  
Центральной,  
Русской,  
Черноземной  
Полосы.

Что и говорить, не так-то просто ухватить, воспроизвести, запечатлеть вот такую неэкзотическую, неброскую, не степь и не лес, землю. Какими красками писать? На какие надавливать тубики? Хорошо было, к примеру, Сарьяну: давил на все краски сразу, особенно не присматриваясь. Кажется, тыкал кистью, не глядя. И везде попадал...

Но вот закрываю глаза, и трепетно обмирает сердце: вот она родимая! Взгорья и ложбины, и опять холмы. Вверх — вниз, вниз — вверх... Будто дышит, словно это ее глубокие, натруженные вздохи...

Тут мы и живем, между этими вздохами. Здесь, в заветрии промеж холмов, приютились наши тихие ракитовые деревушки с мычащими телятами на приколе, с гераньками и неказистыми цветками под названием «мокрый Ванька» в нехоромных оконцах. В этих-то деревеньках, до которых не всяк раз без сапог доберешься, и обитают наши среднерусские, черноземные женщины, а то и наши матери и сестры, и все, что живет около и держится на них,— от внуков до кошки и курицы. Пусть не красавицы, пусть курносы, не очень-то белолицы и не дюже причесанные, а чаще в наспех наброшенных платках и расхожей одежке, но сколько сделавшие своими корявыми, огрубелыми, навсегда утратившими прежнее девичье изящество руками! Не счастье того, что переворочали они, перетаскали, перелопали, перевеяли, перепололи, перечистили навозу и буграков, передоили, перенянчили поросят, телят и ребятишек! А сколь перемерзли, передрожали, перемокли, пережарились, перепотели на этих вздыбленных, холмистых пашнях. Сколь перетерпели, перемогли, перемолчали радикулитов, ломоты в пояснице, мужицкого сквернословия, начальственного невнимания...

По лощинам и межгорьям, в лозняках и ольшаниках текут наши робкие, пугливые речушки, воды которых потом питают, поддерживают красу и славу легендарного Дона и достойного Днепра, который столь могуч, что, по словам Гоголя, редкая птица долетит до его середины... Где-то там действительно плывут величавые белые теплоходы, горят рубиновые бакенные огни, а на закате плещутся, играют осетры... Здесь же, конечно, всё поскромнее, у нас тут свои картины. Правда, весной такая вот бессловесная речушка вдруг зашумит, захорохорится, как подгулявший сторож, какой-нибудь дед Филя в перевернутом треугольнике, даже своротит и унесет чей-нибудь забор,

раскидает дрова или припасенный лес на новую избу... Но буйства этого разве что на пару-тройку ден. А потом дед Филя поправит как надо шапку, улыбнется виновато и покается: погулял малость и будя! Так и речушка: покурлесит, да умиротворенно разольется по лознякам, греясь на мелком, на солнышке. В такие ранне-апрельские дни, еще при ночных морозцах, доверчиво, пухово зацветают ветлы, начнут золотить пыльцой темную подножную воду. Там, у реки, повесенному пьянчае пахнет талой землей, просыхающими пнями, прошлогодними трубками дягиля, терпким черемушным окорьем. Стрекочет на колючей груше сорока, снует, вскидывает вороненым, с отливом хвостом, облюбовывает себе неприступное местечко для гнездовья. Трудно, неуверенно погудывают возле ветел первые, еще слабые после зимовки пчелы. Иные, не одолев разлива речушки, плюхаются в омут, и потом долго и напрасно зыбят крыльями воду, пока не заметит верткий голавлишко и не чмокнет пчелу жадно разверстым зевом.

Это внизу, у воды. По склонам же теплых, нагретых угорий, на уже перекопанных под картошку огородах водят своих замурзанных, обтрепавшихся за зиму кур женихастые петухи, показывают им червяков и, пока те ссорятся из-за подношения, самодовольно и громогласно горланят на всю округу. Еще же выше, на междуречьях, напористый ветер уже пылит подсыхающей дорогой, гонит первые волны озимых, рвет и полощет пока еще не выцветший кумачовый флажок на тракторной будке. А над всем этим — над полями и логами, где дымит зеленовато-желтым дымом светлый, пронизанный солнцем орешник, над чернопашьем, над блюдцами талой воды и бурьянистым омежем с пригревшимися там курскими куропатками, над скирдами старой, побуревший соломы и прокладывающим первую борозду трактором, слепяще высверкивающим лемехами, — над всей этой суетой и благодатью серебряно звенят, ликуют, захлебываются радостью бытия наши курские простенькие птицы — жаворонки. А еще будет на этой земле лето, для которого понадобятся новые и совсем другие краски — приспеют долгожданные деньки с раскатыстыми громами, солнцеструйными ливнями, с белым цветом калины и медовым дыханием подмаренника, с радостной сенокосной порой, когда луга вдруг наполнятся веселым гамом скоротечной работы, белыми бабьими платками и льняными головенками ребятни, когда повеет волнующим ароматом скошенных и привадиших валков, а потом, через неделю-другую, в сумерках, под взошедшей газастой луной таинственно возвысятся стога, роняющие долгие тени...

И будет потом наша золотая черноземная осень, когда в бездонной сини бабьего лета поплывут невесть куда серебристые пряди, а из отяжелевших садов еще за версту запахнет знаменитой курской антоновкой, с которой, право, не знаем, что делать, куда девать, потому как в самый раз надо убирать тоже знаменитую курскую картошку,

известную всему Донбассу и даже на Кубе, а заодно не приходится мешкать со всеми клятыми чумазыми бураками, которые потом, однако, отмоют и наделают белейшего курского сахара на потребу каждого шестого жителя России. И зашумят, загомонят по курским городам и весям осенние кустодиевские ярмарки.

А там чередом нагрянет зима с заячьими набродами в белых полях, с завораживающей тишиной в перелесках, с ребячьим галдежем, звоном коньков и клюшек на застывшем пруду, с ранними сумерками и уютными огнями в деревенских окошках.

А еще у этой земли есть своя история. Долгая, древняя, уходящая в туманную глубь веков.

Черным сощуренным глазом ревниво и алчно следила за Русью некрещеная степь, и несчетно раз горели посеймские селения от набегов хозар, печенегов и половцев. И потому северский суровый пахарь, или, по-тогдашнему, севрюк — житель здешних подстепных окраин, идя на пашню, брал с собой топор или бердыш.

Москва еще лежала в колыбели,  
А Курск уже сражался за Москву.

За Москву и за самое себя сражалась эта земля и на своей огненной дуге в сорок третьем. Вглядимся в эти холмы, особенно на закате солнца, когда косые лучи высвечивают всякую неровность, и мы увидим все еще не изгладившиеся шрамы минувшего побоища. Оплывшие, заросшие боярышником и чередой старые окопы по-прежнему опоясывают околицы деревень, пересекают нераспаханные суходолы, змеятся по лесным окраинам и овражным вершкам. А сколько отрешенно белых обелисков, молчаливых и скорбных в своем одиночестве, возносится на здешних высотах!

У войны тоже свои краски.

Да, нелегко воссоздать облик этой не так уж и простой земли без сыновней чуткости и бережности. Но кто поймет ее, для того и она откликнется доверчиво и щедро всеми своими красками, как некогда белозерская земля раскрылась бесконечным и дивным свечением перед внемлющей душой Дионисия.

И выходит, что вовсе не в купленных тюбиках сокрыты нужные краски. Об этом как-то так язычески, зримо и очень верно сказал поэт Эдуардас Межелайтис:

Из маков — красную, из одуванчиков — желтую,  
Из пепла — серую, из угля — черную  
Сделали краски, смешали, развели на полотне,  
Сотканном из трав земли, написали портрет земли.

Мне почему-то видится она в облике среднерусской женщины, много поработавшей, народившей много сыновей и дочерей, с усталой, но доверчивой и доброй улыбкой. И на коленях у нее большие теплые руки.



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

С сединою на висках . . . . .	3
На дальней станции сойду... . . . . .	13
Дорога к дому . . . . .	26
Нос ( <i>Из опыта художественной рецензии на стихи поэта и друга Ивана Зиборова</i> ) . . . . .	30
Краски родной земли . . . . .	40

**Евгений Иванович НОСОВ**

**НА ДАЛЬНЕЙ  
СТАНЦИИ СОИДУ...**

Редактор Д. К. И в а н о в

Технический редактор О. Н. Л а с т о ч к и н а

---

Сдано в набор 15.07.86. Подписано к печати  
23.09.86. А 00734. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага  
газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная  
печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,03.  
Усл. кр.-отг. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 2167.  
Зак. 3374. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Револю-  
ции типография имени В. И. Ленина издатель-  
ства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП,  
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ЛОТЕРЕЯ БЕЗ ТИРАЖЕЙ**

Автомобили «Волга», «Жигули», «Запорожец» и денежные суммы до 5 000 рублей разыгрываются в спортивной денежно-вещевой лотерее «Спринт».

Результат игры вы узнаете мгновенно. Размеры денежных и наименования вещевых выигрышей указаны на запечатанных в конверты билетах.

Билеты лотереи «Спринт» выпускаются сериями по два миллиона штук в каждой.

В серии со стоимостью одного билета 50 копеек разыгрываются 400 072 выигрыша. В их числе: 8 вещевых выигрышей — по два автомобиля «Волга ГАЗ-24-10», «Жигули ВАЗ-2105», «Жигули ВАЗ-21013», «Запорожец 968-М» и 400 064 денежных выигрыша от 50 копеек до 1 000 рублей.

В серии со стоимостью одного билета 1 рубль разыгрываются 400 078 выигрышей. В их числе: 16 вещевых выигрышей — по четыре автомобиля «Волга ГАЗ-24-10», «Жигули ВАЗ-2105», «Жигули ВАЗ-21013», «Запорожец 968-М» и 400 062 денежных выигрыша от 1 до 5 000 рублей.

Доходы лотереи «Спринт» направляются на развитие физической культуры и спорта.

Общий выигрыш всех участников лотереи — новые спортивные сооружения, возможность систематически заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье.

**Главное управление спортивных лотерей  
Госкомспорта СССР**